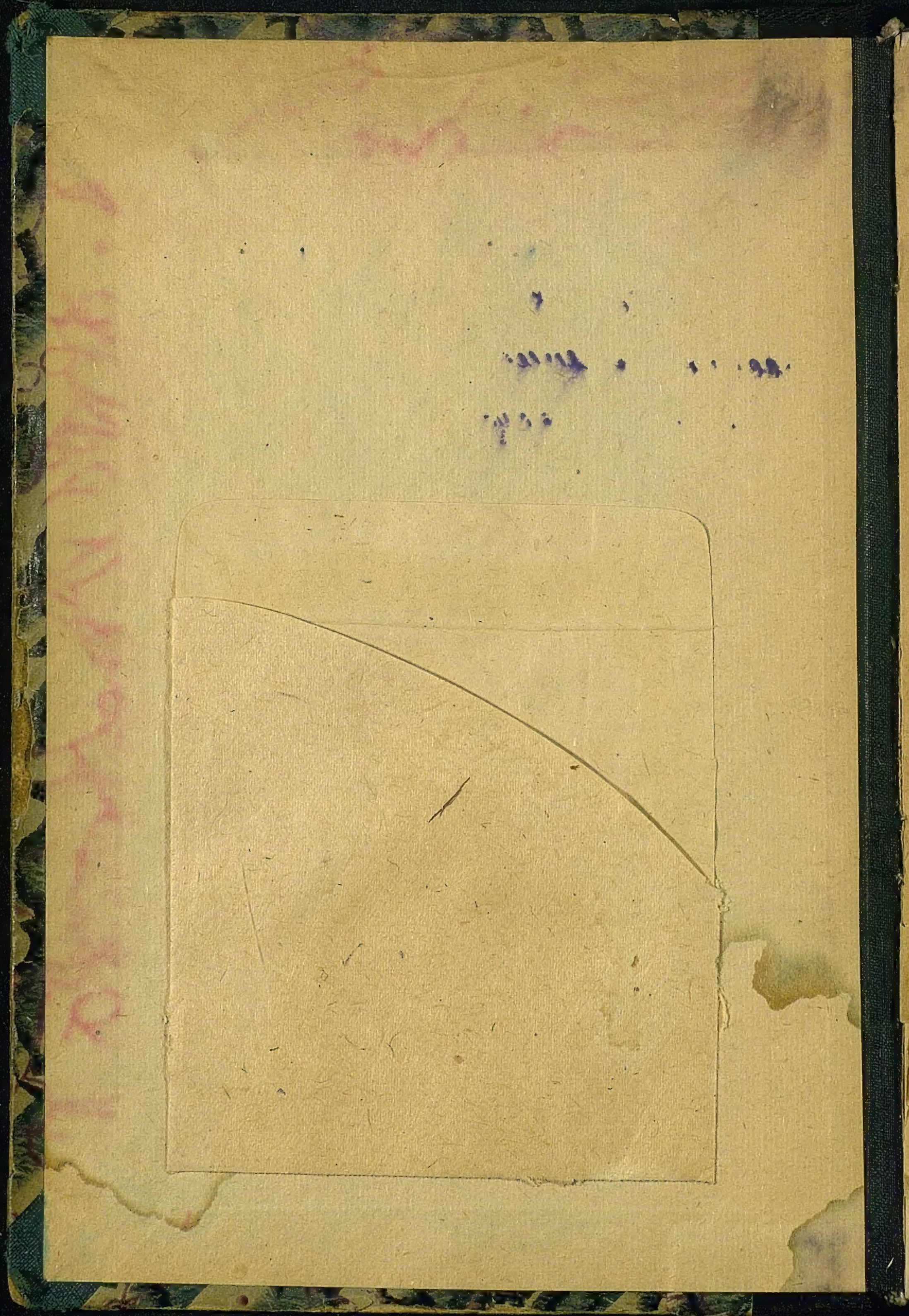
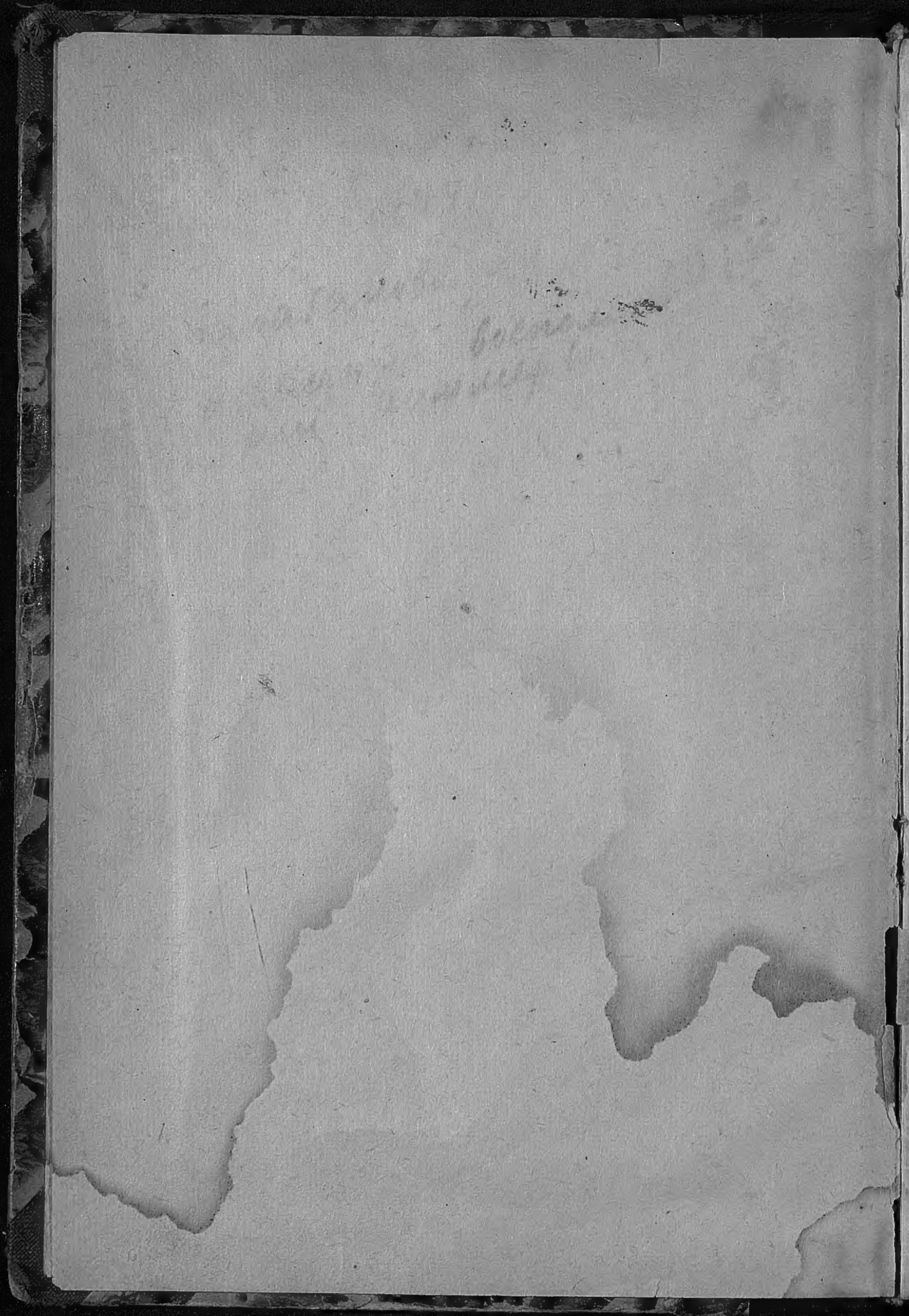




249 —

187 [illegible]

[illegible]



АНЖЕЛИКА
БАЛАБАНОВА

# ИЗ ЛИЧНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ ЦИММЕРВАЛЬДЦА

«КНИГА»
ЛЕНИНГРАД—МОСКВА
1925

АНЖЕЛИКА БАЛАБАНОВА

# ИЗ ЛИЧНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ ЦИММЕРВАЛЬДЦА








ИЗДАТЕЛЬСТВО „КНИГА“
ЛЕНИНГРАД — 1925 — МОСКВА

...озврата книги.

Ленинградский Гублит № 20989.—12 1/4 л. Тираж 5000 экз.

652. Типогр. Ак. Худож. (аренд. у Промбюро), Тучков пер. д. 1.

# Из личных воспоминаний Циммервальдца.

## Последнее заседание И. К. II Интернационала.

Ровно 9 лет тому назад—25-го июля 1914 г. я получила телеграмму от секретаря итальянской социалистической партии с извещением о том, что 23-го и 29-го июля в Брюсселе собирается экстренное заседание Бюро Интернационала, в котором я представляла итальянскую партию. Некоторые детали, чисто случайного характера, сопровождавшие мою поездку из Пизы в Брюссель, врезались мне в память — я упомяну о них, потому что они бросают яркий свет на то, какой популярностью пользовались в нормальное время социалисты в Италии. В течение долгого времени агитационно-пропагандистская работа и обязанности члена Ц. К. партии заставляли меня ездить раза два в неделю из Рима в Северную Италию—Геную, Милан, Турин и обратно. В Пизе, куда поезд приходил поздно ночью, мне всегда приходилось ждать несколько часов, которые я всегда проводила с местным корреспондентом нашего центрального органа „Аванти“, с преданным товарищем и личным приятелем. И на этот раз мы встретились на вокзале и дождались отхода поезда. Когда поезд двинулся и я начала усаживаться, ко мне подошли двое пассажиров и предложили поменяться местами.

— Вам будет удобнее одной, а у нас места больше будет.

— „Охотно,—ответила я,—лишь бы вы потрудились постучать мне в купэ, когда поезд будет под'езжать к Милану.

— К Милану?—воскликнули в один голос мои удивленно-пораженные собеседники,—ведь этот поезд идет в Рим!

— В Рим!—воскликнула я, в свою очередь, с неменьшим удивлением, сменившимся ужасом.

Для того, чтобы попасть на заседание в Бюро я должна была быть на следующий день в Милане, откуда лишь один поезд в сутки отходил по направлению к Бельгии. В течение доброго десятилетия своих постоянных раз'ездов мне ни разу не случалось опоздать на митинг или заседание ни в Италии, ни заграницей, хотя порой приходилось ездить в отдаленные от центра места и на лошадях и на автомобиле, а порой переправляться и более примитивным способом, перемещаться несколько раз в сутки с одного места на другое. Хотя я, как вероятно большинство товарищей, не представляла себе, ни размеров, ни близости угрожавшей человечеству империалистической катастрофы, я все-таки в достаточной степени отдавала себе отчет в важности созванного заседания и в своей личной ответственности перед итальянской партией и Бюро, чтобы прийти в отчаяние от совершенной мною оплошности. Кондуктор, заметив мое смущение, из'явил готовность всячески помочь мне. Когда же я сказала ему о цели своей поездки и о том, что, опоздав в Милан, я не смогу принять участия в заседании Интернационального Социалистического Бюро, он обещал меня высадить на первой же станции, хотя по расписанию скорый поезд, с которым я ехала, на ней не останавливался. И действительно, когда поезд, подходя к станции, замедлил ход, он спустил меня, как ребенка, на руки стоявшему на платформе железнодорожнику, выбросил мои вещи и пожал руку, пожелав счастливого пути. На вокзале маленькой станции меня ожидала

другая беда. Скорый поезд, который мог бы отвезти меня обратно по направлению в Милан, уже ушел и мне пришлось бы ждать целых 20 часов, т.-е. отказаться от поездки, если бы другой железнодорожный служащий, узнав меня, не предложил взять меня с собой в товарном поезде. Только благодаря солидарности товарищей железнодорожников я была в состоянии исполнить свою обязанность и принять участие в последнем заседании Бюро II Интернационала.

Редко когда заседания этого Бюро производили на меня такое удручающее впечатление, как три заседания—утреннее и послеобеденное 28-го и утреннее последнее 29-го. И не потому, чтобы в нем царила атмосфера, пропитанная предчувствием предстоящих ужасов, близости мировой войны, поражения рабочего класса, смерти или самоубийства социалистического Интернационала. Я продолжаю думать, что большинство участников не отдавало себе отчета в том, чем разразится ближайшее будущее, и надеялось на то, что война ограничится австро-сербским конфликтом. Когда на 2-м заседании разнеслась весть об русском ультиматуме, большинство делегатов, не исключая и представителей русских социалистических партий, отнеслись к нему, как к утке. Но от заседания, как и от отдельных речей, докладов, веяло бесконечной беспомощностью, безвыходностью, отсутствием веры в мощь рабочего класса. Прямо трагически звучал доклад Виктора Адлера об Австрии, которым открылось заседание, ни проблеска веры в то, чтобы рабочий класс мог воспротивиться войне. Немногим иначе звучали и речи делегатов из других стран. Ноту борьбы и оптимизма вносил Жорес, но его аргументация, его мелкие конкретные предложения опирались не на веру в рабочий класс, в силу его интернационального революционного выступления, а скорее на надежду чудом предотвратить расширение войны, воздействуя на общественное мнение и даже на правительство. Казалось,

что ему, взор которого был всегда устремлен на опасность, угрожавшую европейскому миру, хотелось отогнать от самого себя назревавшую уверенность в том, что французско-германская война неизбежна. Как утопающий хватается за соломинку, так Жорес хватался за всякий проблеск надежды... Проявлением этого настроения послужило и его восторженное демонстративное об'ятие Гаазе, когда этот последний сообщил о полученной им из Берлина телеграмме о тамошних митингах против войны.

Наивно прозвучали на общем пессимистическом фоне заявления двух английских делегатов Кер Гарди и Брюс Глэзьера, что английский рабочий класс не допустит войны, что профессиональные союзы воспротивятся ей всякими мерами.

Показательным для настроения, царившего в этом заседании, является то, что никто не выдвинул конкретного плана, какой бы то ни было возможности противопоставить империалистическим вожделениям буржуазии то или иное выступление, ту или иную тактику рабочего класса. Когда Роза Люксембург предложила перейти к немедленному обсуждению вопроса о перенесении Интернационального Конгресса из Вены в другое место, и это предложение тотчас же было подхвачено остальными делегатами, то во всем этом чувствовалось желание оттянуть, не разойтись, не приняв хоть какого нибудь решения, чтобы не показать своего бессилия, а не вера в то, что на конгрессе найден будет исход, намечен план действий.

Несколько удивленная тем, что ни один оратор не упомянул ни словом об эвентуальности всеобщей забастовки, я заговорила о ней, как об одном из средств борьбы против войны. Я не вносила предложения, а только ставила на обсуждение вопрос, нередко возбуждавшийся в Интернационале. Помню, какими испуганно удивленными глазами посмотрело на меня большинство делегатов, в особенности Адлер и Гэд.

Первый ответил, как всегда, остроумной, но трагично прозвучавшей в этот момент шуткой, указывавшей на несвоевременность моего напоминания, а Гэд распространился в менее дружеском тоне—об опасности агитации за всеобщую забастовку против войны, так как прямым последствием такой забастовки должно было быть, согласно известной его теории, поражение социалистически более развитой страны...

Послеобеденное заседание было поглощено предложением Розы Люксембург, горячо поддержанной Жоресом,—о перенесении Интернационального Конгресса в Париж, причем и Жорес, и Роза Люксембург придавали большое значение манифестациям против войны, которые должны были иметь место в Париже до и во время Интернационального Социалистического Конгресса.

На этом же заседании Жоресу было поручено набросать текст обращения Интернационального Социалистического Бюро к мировому пролетариату.

---

## Последний митинг II Интернационала.— Последнее международное выступление Жореса.

Несмотря на гигантскую работоспособность Жореса и на неисчерпаемый запас его энергии, его выступление на интернациональном митинге 28-го июля казалось ему не по силам.

„У меня безумно болит голова",—говорил он мне в ресторане Брюссельского Народного дома, прося избавить его от назойливого общества одного из товарищей почитателей, который во что бы то ни стало хотел всюду сопровождать его. В таком настроении дописывал он свой манифест, явившийся его завещанием, в таком настроении выступил он в переполненном, громадном цирке.

Когда члены Бюро Социалистического Интернационала появились на эстраде, и слово после Вандервельде и Гаазе взял Жорес, весь зал задрожал от рукоплесканий, от восторженного топота ног, от шумного несдерживаемого восторга при виде любимого трибуна. Однако, в самой бурности этого приема, в его необузданности, чувствовалась разношерстность собравшейся публики, добрая доля которой принадлежала буржуазии и, особенно, мелкой буржуазии. Это не столько были рабочие, собравшиеся услышать доклад и инструкции товарища-руководителя партии, в зависимости от которых они сами намеревались намечать свою тактику классовой борьбы,—это была публика, привлеченная любопытным зрелищем ораторов различных стран, говоривших на различных языках, привлеченная, главным образом, возможностью по-

слушать великого оратора Жореса. Состав публики и ее отношение к его словам, в свою очередь, действовали и на Жореса: его речь обращалась не столько к рабочему классу, сколько к обществу, к человечеству вообще и от правительств ожидали вмешательства в пользу мира. „Если французское правительство не сумеет удержать союзницу Россию от войны с Германией, мы во имя человечества, порвем союз с Россией“, говорил он с необыкновенным под'емом и зал сотрясался от рукоплесканий, словно от землетрясения, все вокруг вибрировало, дрожало от установившегося между трибуном и публикой контакта, от громадного взаимного напряжения, от мощи его слов, от искренности заклинаний, с которыми он обращался к власть имущим. От всего этого делалось особенно жутко на душе. Я поделилась впечатлением с близко от меня на эстраде стоявшими Моргари и Гриммом хотелось выяснить себе, что собственно являлось основным мотивом в речи Жореса: пессимизм ли по отношению к рабочему классу и пролетарскому Интернационалу, или желание повлиять на правительства, или быть может в минуту большой опасности и большого напряжения в нем брала верх вера в „идеализм“, в солидарность человечества, в желание власть имущих предотвратить катастрофу...

Особой нотой прозвучала на митинге речь Розы Люксембург, которая в тот момент подвергалась особым преследованиям за выступления антимилитаристического характера. Казалось, что ей аплодировали совсем по-другому,—словно другие руки хлопали ей, словно из общей аудитории отделилась чисто рабочая публика.

От жуткого чувства не отделалась я и во время громадной уличной манифестации,—то не было шествие дисциплинированных рабочих баталионов, идущих по намеченному их классовыми интересами и идеологией пути, а скорее шум толпы, наэлектризованной речью великого мастера слова.

Вспоминая о том, как Жорес говорил в тот вечер, о том, сколько неподдельно чистого, душевного пафоса он вложил в свою речь, я не раз думала, что рука убийцы избавила его от глубоко трагического переживания, каким явилось бы для него сознание неотвратимости войны.

На другое утро заседание Исполнительного Комитета Социалистического Интернационала закончилось принятием манифеста, редактированного Жоресом. Перед тем, как раз'ехаться по различным странам, большинство членов Бюро, по обыкновению, посвятило оставшееся до отхода поезда время на экскурсии, осмотр музея, города и т. п. Помню, Жорес решил отправиться в картинную галлерею, а итальянская делегация, тов. Моргари и я вместе со швейцарской (Гримм и Моор) отправились после обеда в Антверпен. Так далеки были мы все от мысли о непосредственной близости мировой катастрофы.

Когда мы вечером выехали из Брюсселя, мы и не подозревали, что нас везет последний поезд, уходивший из Бельгии до немецкого на нее наступления, а когда по дороге выкрикивали экстренные выпуски газет,—все думали, что дело идет о сенсационных деталях процесса Кайо. Так оно и было.

Первое определенно тревожное впечатление мы получили на следующее утро в Базеле. Увидя проходившего мимо члена Ц. К. немецкой социал-демократической партии Эберта в сопровождении другого члена партии, Гримм подошел к ним и узнал, что они приехали в Швейцарию с тем, чтобы депонировать там партийные деньги... Сомнений быть не могло. Надвигались грозовые тучи. Еще вчера казавшееся возможным ограничение войны австро-сербским конфликтом оказалось утопией... Каждый из нас торопился на свой пост. В Берне мы с товарищем Моргари застали телеграмму от Ц. К. партии, который назначил заседание на 3-е августа

в Милане. В Берне же мы прочитали у газетного киоска, окруженного густой толпой, об убийстве Жореса: это известие дало почувствовать, что мы вступили в новую полосу страшных, неограниченных возможностей. Интернационал был поражен на смерть в лице одного из его наиболее выдающихся деятелей.

---

## Первое выступление Ц. К. итальянской социалистической партии против войны.

Настроения и течения, проявившиеся в этом первом заседании Ц. К. итальянской социалистической партии могут служить психологическим ключем для понимания дальнейшего развития отношения итальянской социалистической партии к войне и психологическим об'яснением многого из того трагического, что в настоящее время разыгрывается в Италии, мимо чего большинство проходит с абсолютным непониманием, ограничиваясь поверхностным суждением, схематическими ретроспективными группировками, применением „заднего ума", который в политике, в суждениях об общественных явлениях допустим еще менее, чем когда речь идет об единичном, личном, менее важном, менее сложном.

Задавшись целью поделиться *воспоминаниями*, т.-е. желая по возможности непосредственно, цельно передать свои впечатления о прошлом, я не считаю себя вправе забегать вперед, и тем менее говорить о настоящем, о том, что так глубоко врезалось в жизнь итальянских масс и с такой интенсивностью переживается каждым из участников тамошнего рабочего движения, каждым из тех, кто понимает его, жил и живет им. Речь идет, конечно, о фашизме. Я не хочу подробно говорить о нем в воспоминаниях *„циммервальдца"* и по соображениям хронологического характера, и потому, что не хочу, чтобы теперешние события окрашивали воспоминания о прошлом. Упоминаю же я о фашизме лишь по следующему поводу.

В том что фашизм явление реакционного, международного антипролетарского характера, в этом нет сомнения не только для марксиста, но даже, — теперь в особенности после трехлетнего опыта,—и для простого обывателя. Об этом все и вся говорит и пишет даже в самой Италии без всякого стеснения. Но для мало-мальски знакомого с психологией итальянского народа, его движением, нет сомнения в том, что в Италии не могла бы привиться другая, менее дикая, менее беззастенчивая, менее циничная форма реакции. Итальянская масса должна была быть *ошеломлена*, ее нужно было подвергнуть самому невероятному, казавшемуся невозможным, чтобы сразить и обезоружить ее. И как раз в том, какую форму приняла реакция, значительную роль сыграли лица, ставшие во главе наступления на рабочий класс. Без перебежчиков из революционного лагеря реакция не могла бы принять того характера, который она приняла,—фашизм не зародился бы в его теперешней форме. Италия не сделалась бы оплотом мировой реакции. Фашизм победил дикостью своего наступления, беззастенчивостью и комедиянством своих вождей, возведением в принцип беспринципности, возведением в добродетель самого гнусного—того, что заклеймлено вековыми традициями, моралью, общественным мнением даже буржуазии,—предательством, издевательством над своим прошлым, сжиганием того, чему когда-то преклонялись, преклонением перед тем, что когда-то осмеивали, оплевывали... На такую роль... „личности в истории“ могли оказаться способными лишь люди, обезумевшие от ненависти и чувства мести по отношению к партии, которой они были обязаны не только занятым ими когда-то положением, но и теми проблесками человеческого, идейного, революционного миросозерцания, которые благодаря социализму и социалистическому движению выпали и на долю этих жалких, презренных предателей..... Что партия, в которой они нашли оплот, убежище, популяр-

ность—изгнала их из своей среды, как только они отклонились в сторону и пытались отклонить и рабочее движение,—этого эти жалкие трусы не забыли. И так как партия от них начала отмежевываться как раз на 1-м заседании Ц. К., о котором пойдет речь, я на него хочу обратить внимание читателей. Хочу еще прибавить, или вернее предпослать дальнейшему рассказу, что хотя долгие годы жизни в эмиграции и тесного сотрудничества в редакции „Аванти“ и Ц. К. партии дали мне возможность очень близко узнать того, кто является теперь кандидатом в „императоры будущей возрожденной Римской Империи“, и его побуждения, и настоящий облик мне хорошо известны, я постараюсь по возможности меньше упоминать о нем, снабжать прессу „сенсационными деталями“ о том, кого она сегодня называет „великим“ и с которым она, как только он будет развенчан, расправится, как с любым клоуном и будет переполнять столбцы своих газет деталями о том, каким маленьким, трусливым, недостойным никакого внимания был тот, которого она сама вчера окружала ореолом. Его раба сегодня, она завтра расчитается с ним, как с рабом.

---

В виду исключительной важности надвигавшихся событий Ц. К. итальянской социалистической партии созвал в Милан не только всех своих членов, представителей парламентской фракции, но и представителей больших пролетарских организаций, которые, как, например, руководители крестьянских союзов (Federazione dei Labaratori della Terra), косвенно были связаны с партией, хотя и сохраняли организационную автономию,—или, как железнодорожники, стоя ближе к синдикалистам, не состояли с ней ни в какой связи. Было созвано нечто вроде пролетарского парламента, чтобы наметить общую линию действий сознательных рабочих масс.

О том, каково будет отношение правительства к войне, ничего определенного известно не было,—сама буржуазия ведь целых 9 месяцев колебалась, не зная, какой образ действий сулил ей наибольшую наживу и только, постепенно переходя от австрофилии к франкофильству, определила, наконец, свою позицию. В момент созыва нашего парламента положение далеко не созрело, вернее еще и не намечалось. Центральный Комитет социалистической партии счел долгом предупредить события, подготовить пролетариат к тому, что войне нужно препятствовать, что надвигавшаяся война—не пролетарская. О конкретных средствах борьбы речь шла лишь мельком по вышеуказанным причинам неопределенности положения. Настроение было бодрое и боевое. Никто не проявил никаких сомнений. Однако, к концу заседания, когда уж решено было выпустить манифест и начать соответствующую кампанию в прессе, один из синдикалистов заявил, что если бы Италия вступила в войну на стороне Франции, а не, как тогда казалось наиболее правдоподобным, оставаясь верной союзнице Австрии—тактика пролетариата была бы иной, ибо война в пользу Франции, против Австрии была бы более популярной—и против нее труднее было бы вести кампанию. Против этой точки зрения высказались Костантино Лаццари и пишущая эти строки. Все присутствующие, за исключением возбудивших вопрос синдикалистов, присоединились к нам без дискуссий. Я просила секретаря заседания Лаццари внести в протокол, что Ц. К. энергично и категорически протестует против предположения, что партия может делать уступки мелкобуржуазному „общественному мнению" и руководиться чем-нибудь иным, чем классовые интересы и идеология пролетариата. *Против всякой войны, за Интернационал,*—с этим лозунгом итальянская социалистическая партия вступила в борьбу против империализма и сразу отмежевалась от всех оппортунистических течений, готовых

„от случая до случая“ решить отношение революционного пролетариата к войне. В этом заседании был заложен фундамент тому, чем итальянская партия заслужила признательное отношение пролетарского Интернационала и естественно безграничную, дикую ненависть господствующих классов и перебежчиков из революционного лагеря.

Решение Ц. К. вызвало одобрение всей партии,—широчайших кругов организованных рабочих и крестьянских масс. Вслед за упомянутым воззванием Центрального Комитета решено было выпустить воззвание от имени парламентской фракции. Для обсуждения его был приглашен в Рим и главный редактор „Аванти“ Муссолини, который принял наибольшее участие в редактировании воззвания. Как только оно появилось в печати, против партии и фракции началась кампания буржуазной прессы. Воззвание требовало нейтралитета Италии и указывало на то, что рабочему классу безразлично, какая капиталистическая коалиция победит, буржуазная пресса называла это предательством. Полемика, естественно, велась главным образом центральным органом партии, главный редактор которого занимал все более резкую позицию, все более резкий тон. Не удовлетворяясь решением Ц. К. и фракции партии, он вздумал прибегнуть к плебисциту. В горячей статье, называвшей сторонников войны предателями народа, Муссолини обратился ко всем беспартийным организациям пролетарского и полупролетарского характера, к обществам взаимопомощи, больничным кассам, к кооперативам и т. п. с предложением принимать резолюции против войны и присылать их в редакцию „Аванти“. Вскоре вся газета была переполнена, испещрена резолюциями в пользу нейтралитета, против вступления Италии в войну. Главный редактор „Аванти“ снабжал резолюции, притекавшие со всех концов страны, надлежащими заголовками и комментариями. Полемика разгоралась. Хотя еще и неизвестно было, на чью

сторону станет Италия, а потому буржуазная пресса не могла занять определенного положения, тем не менее было ясно, что единственным врагом, единственным препятствием для войны в Италии будет социалистическая партия. В виду этого обстоятельства на нее обрушилось гораздо больше клеветы, демагогии, ненависти, озлобления, чем на те социалистические партии, которые либо целиком, либо в громадном большинстве, перешли на точку зрения „классового перемирия“ и национальной обороны.

Итальянской партии приходилось, таким образом, и отстаивать свою враждебную войне позицию и выступать на защиту Интернационала. Поведение немецких и французских социалистов в парламенте и вне его националистическая статья венской „Арбейтер Цейтунг“, от 5-го августа 1914 г., в которой она называла великим историческим событием голосование немецкими социал-демократами военных кредитов, крайне осложнили положение итальянской партии. Вдобавок ко всему она была оторвана от остального мира и не имела при свирепой военной цензуре стран, уже вступивших в войну, возможности ни получать прямых сведений от партий, или товарищей, ни проверять распространяемые буржуазной прессой слухи. В этой последней, очень быстро об'единившейся в единый фронт против социалистической партии, повторялось монотонное пережевывание: „социалисты всех стран ставят интересы отечества выше партии, все отвернулись от Интернационала, чтобы защищать родину,—одни итальянские социалисты предали родину, продали ее“. На фоне этого „предательства“ фантазия продажных журналистов доходила до геркулесовых столбов беззастенчивой гнусности.

Мне придется еще упомянуть о кое-каких, доходивших до комизма слухах, распространенных на мой счет,—но должна признаться, что я лишь к концу войны начала отно-

ситься безразлично к клеветнической кампании. Уже одна чисто внешняя ассоциация между приписываемыми нам гнусностями и служением социализму не может не вызывать чувства брезгливости, тем более, что сознательная ложь является, для меня по крайней мере, наиболее унизительной, позорной для человечества. Каждый раз, когда мне приходилось натыкаться на такого рода ложь, я долго, подчас целые годы, не могла прийти в себя. А война возвела в систему ложь, о которой все знали, что она являлась таковой и все-таки она распространялась, печаталась, перепечатывалась. Следует прибавить, что до войны у всех нас было другое отношение, чем теперь, к печатному слову, к прессе. Мы знали, что пресса является защитницей господствующих классов, но мы не могли себе представить, до каких оргий лжи и демагогии может довести коалиция всех интересов буржуазии против рабочего класса.

Несмотря на всю разницу и противоположность интересов союзников и Австро-Германии, обе эти коалиции в одинаковой степени боялись революционного выступления рабочих, возмущения солдат и т. д. Боялись социального пожара, угрожавшего всем в одинаковой степени. Но, повторяю, ни в одной стране клевета против социалистов и Интернационала не велась в таком масштабе, как в Италии. В тех странах, где большинство социалистов вступило в перемирие с буржуазией, против бунтующего меньшинства можно было всегда сослаться на благоразумное большинство, да и большинство в интересах „защиты отечества“ уже само справлялось со строптивым меньшинством. В Италии этого запасного аргумента не было, а потому приходилось черпать из другого источника. А так как в течение 9 месяцев итальянского нейтралитета крупная, мелкая буржуазия и обыватели не знали в какую сторону повеет ветер и на всякий случай хотели иметь наготове и „патриотический энтузиазм“ и „еди-

нодушное вступление" в войну, то они все видели своего врага в подкапывавшем надлежащее настроение—социализме и в единственной партии, которая в то время пользовалась влиянием на массы и была в состоянии мобилизовать их. Буржуазные партии повели атаку против социалистической партии в двух направлениях. Они искажали партийную программу, цели движения и применяемые для достижения ее средства, пытались подорвать единство и престиж партии, а, с другой стороны, лестью, рекламированием, обещанием почестей, влияния, денег старались завоевать того или другого руководителя партии, чтобы „бросить" его на партию, совратить которую с классового пути не удавалось никакими средствами. Г. Муссолини пошел на эту вульгарную удочку, сделался орудием буржуазии против рабочего класса. Ценой своей измены он нашел в беспринципной среде то, в чем пролетарская партия ему отказала, выбросив его из своих рядов: возможность удовлетворить мелкому, низкопробному тщеславию, дать разыграться всем вкусам и страстям мелкобуржуазного, слабовольного суб'екта.

Упомяну о нескольких случаях, бросающих некоторый свет на условия, в которых жила тогда итальянская партия и на то, среди каких затруднений в ней зародилась мысль и инициатива, результатом которых и явилось, вместе с возникшими позже попытками швейцарских и русских социал-демократов, циммервальдское движение.

Несколько дней после упомянутого заседания пролетарского предпарламента в Милане—в редакции „Аванти" было созвано экстраординарное совещание находившихся в Милане членов Ц. К. партии и наиболее влиятельных членов парламентской фракции. Во время перерыва живой, деятельный член Ц. К. Артуро Велла обратился ко мне в полушутливом тоне:

— Ну, когда же ваши друзья решатся на что-нибудь? Хотя бы Адлер дал себя расстрелять, чтобы доказать, что не

все австрийские социалисты за войну, что и среди них есть приверженцы Интернационала.

Несмотря на шутливую форму и эксцентричность содержания, этот вопрос-возглас являлся криком души не одного только тов. Велла. Большинство итальянских социалистов, защищавших Интернационал от нападений и клеветы врагов, делали это из убеждения, из солидарности, из веры в рабочий класс, в товарищей других стран,—однако, психологического знакомства с движением,—или с его личным составом, в особенности в германских странах,—у них не было и не хватало, как я уже упоминала, информации. Я находилась несколько в другом положении, благодаря непосредственному знакомству с движением, литературой и товарищами разных стран. Впоследствии я узнала, что травля против меня велась с особенной ожесточенностью перебежчиками в буржуазный лагерь и буржуазной прессой именно потому, что меня считали специалистом по интернациональным вопросам, звеном, связывавшим итальянскую партию с другими социалистическими партиями и в частности приверженцем немецкой социал-демократии.

Не успела я еще и расслышать хорошенько вопроса Велла, как в комнату заседания вошел Муссолини.

— Только что вышел экстраординарный № „Fecolo“ с известием о том, что немецкое правительство расстреляло Либкнехта и Люксембург. Как ты думаешь, — обратился он ко мне,—возможно это? напишешь некролог?..

Я, хотя и знала, что немецкое правительство более чем способно на такую расправу, тем не менее считала не особенно правдоподобным, чтобы эта расправа произошла в первые дни войны, когда правительство всячески старалось завоевать себе популярность... Расстрел обоих социал-демократов в один и тот же день и час мне казался слишком симметричным, словно придуманным для того, чтобы в союзниче-

ских газетах поместить друг против друга обе фотографии в доказательство того, как свирепо немецкое правительство... Поэтому я написала некролог Карла Либкнехта в условном тоне... Впоследствии мне пришлось слышать от немецких товарищей, что на Либкнехта известие об этом слухе, пущенном газетами, произвело большое впечатление.

Дня через 2 в редакцию „Аванти“ пришла телеграмма за подписью двух членов Ц. К. немецкой социал-демократической партии, гласившая: „Карл Либкнехт и Роза Люксембург живы и здоровы. Просим опровергнуть ложные слухи“... А неделю спустя мне пришлось читать в потерявшем всякое чувство меры „Гамбургском Эхо“ статью о том, что некролог Либкнехту был написан мною, „русской“, для того, чтобы скомпрометировать германское правительство, приписывая ему совершенно неправдоподобный образ действий!

---

## Последняя встреча с Г. В. Плехановым.

В ближайшие недели после об'явления европейской войны и голосования военных кредитов я получила письмо от Г. В. Плеханова с просьбой приехать к нему в Женеву. Меня эта просьба удивила, так как деловых, партийно-фракционных сношений с Г. В., могущих об'яснить такое приглашение, у меня не было и потому что я знала, с какой деликатностью и бережливостью он относится к чужому времени, как неохотно он затруднял кого бы то ни было.

Несмотря на недоумение, вызванное полученным приглашением, я, конечно, решила последовать ему, как только смогу оставить Милан. Не успела я ответить Г. В., как уже получила второе письмо такого же содержания, написанное по поручению Г. В. женой его Р. М.; Р. М. просила меня немедленно приехать и сообщала, что если мне невозможно исполнить просьбу Г. В., он сам приедет ко мне в Милан. Я не догадывалась о причине вызова, и, несмотря на то, что Р. М. в письме упоминала о „бедной Бельгии“, я все еще была бесконечно далека от настоящего повода вызова, точно также, как и от предположения, что у Г. В. могло быть другое отношение к войне, чем у марксистов вообще... То, что ожидало меня по приезде в Женеву, так поразило меня, так врезалось мне в память, настолько интенсивно переживалось и переживается мною еще и теперь, что мне не трудно воспроизвести это свидание во всех его об'ективных и суб'ективных деталях.

Читателям моего поколения не трудно представить себе, как я относилась к Г. В. Говорить о нем только как об учителе, руководителе, вдохновителе, о писателе и ораторе, каждое слово которого с жадностью мной ловилось, недостаточно.

Ему, наряду с Марксом, Энгельсом, Антонио Лабриола, я была обязана приобретением и углублением своего материалистического, марксистского миросозерцания. К тому же я имела случай очень часто лично встречаться, беседовать с Г. В. на конгрессах и заседаниях бюро, на митингах и собраниях в Швейцарии и в особенности в Италии, где мы с ним виделись очень часто, в самой разнообразной и непосредственной обстановке. Он был для меня всегда гармоничным воплощением интеллектуального и морального благородства.

Г. В. встретил меня, когда я рано утром с вокзала приехала к нему, следующими словами:

— Что ваша партия и вы сами собираетесь делать при создавшемся положении?

— Партия постановила всякими средствами воспрепятствовать войне и я приложу все усилия, чтобы помочь ей в исполнении этой, без сомнения, трудной и сложной задачи,— ответила я.

И только когда Г. В. взглядом холодным, суровым, стальным ответил мне и прибавил: — Вот как! А где ваше благородство! Где ваша солидарность с попранной Бельгией, где ваша любовь к России, — я начала понимать, что стряслось нечто ужасное, непостижимое. Я поняла, что говорить уже не о чем... уж не зачем.

Г. В. был очень взволнован, еле владел собой. Решив с первым поездом уехать обратно в Милан, я терпеливо выслушивала колкие намеки Г. В. Я поняла, что его страстная натура не в состоянии была сдерживаться и, убедившись

в том, что всякая попытка спорить, рассуждать напрасна, я старалась не заговаривать ни о чем таком, что могло его раздражать. А Г. В. продолжал... Франка, отправившегося волонтером на войну, и с которым задолго до об'явления войны я прекратила личные отношения, убедившись, что за его радикализмом кроется оппортунизм и тщеславие; Гаазе, прочитавшего декларацию фракции при голосовании кредитов и других немецких с.-д. Г. В. почему-то называл „моими". С неменьшей страстностью говорил он о том, с каким бы удовольствием он ударом сабли покончил бы с любым из „моих" „немецких товарищей", о своей готовности соединиться с готтентотами, лишь бы истребить немецких варваров.

Сутки, проведенные мною в Женеве, были для меня медленной пыткой, довершением которой явилось то, что от Г. В. мне пришлось впервые услышать, в присутствии какой-то французской обывательницы, столь презренное выражение „boches".

С первых слов Г. В. во мне словно что-то надорвалось. Эти глубоко трагические переживания еще увеличили мою солидарность с моими итальянскими товарищами, желание помочь им остаться верными Интернационалу.

В Женеве меня осенила мысль о том, что предстоит относительно маленькой, не пользующейся особым влиянием в Интернационале итальянской партии... До поездки в Женеву я представляла себе, что борьба тяжелая, длинная разовьется по другой линии: коалиция буржуазии всех оттенков против рабочего движения, реформисты, зараженные мелкобуржуазным патриотизмом — против революционных марксистов в недрах Интернационала. В Милан я возвращалась с другой перспективой...

Через некоторое время, когда Муссолини, открыто изменивший пролетарскому Интернационалу, был исключен

нами из Ц. К., а затем и из партии, его тузом против нас явилось интервью с Г. В. против наших стараний удержать Италию от вступления в войну, против нашего нейтралитета по отношению к обеим воюющим сторонам, против наших интернационалистических лозунгов...

---

## I-й зародыш Циммервальдского движения.

По мере того, как война разгоралась и социалистические партии большинства воюющих стран все больше и больше удалялись от классовой точки зрения, а пассивность Интернационала делалась все пагубнее и позорнее, Ц. К. итальянской партии все чаще начал указывать на необходимость созыва брюссельского бюро и коллективного выступления социалистических партий стран, бывших тогда еще нейтральными. По этому поводу мне было поручено вступить в переговоры с швейцарской с.-д. партией, для чего я и встретилась в сентябре 1914 г. с Робертом Гриммом на итальянско-швейцарской границе. Мы решили в течение ближайших недель созвать совещание в Лугано.

В день совещания участники его получили некоторый сюрприз, который впоследствии начал приобретать в моих глазах несколько менее невинный и случайный характер, чем в момент его возникновения. Переписка и подготовка итальянско-швейцарского совещания, естественно, имела, если не строго конспиративный, то во всяком случае конфиденциальный характер, я довела до минимума переписку по его поводу и вела переговоры лично с Ц. К. обеих партий. Накануне совещания швейцарские товарищи прислали нам в Милан письма,—не помню со списком делегатов или с предлагаемым порядком дня... Воспользовавшись этим поводом, Муссолини отпечатал на столбцах „Аванти" извещение о совещании, с указанием часа и места открытия, цели, состава его и т. д.

Всех этот эпизод неприятно поразил, но, принимая во внимание органическую неспособность или нежелание западно-европейских и в особенности итальянских товарищей к конспирации,—никто не придал этому большого значения. Несколько более „странным“ показалось отсутствие на совещании выбранного на него представителя партии, члена Ц. К. и главного руководителя кампанией против войны, Муссолини.

Теперь для меня не подлежит сомнению, что ни одна, ни другая из упомянутых деталей не являлась случайной. К времени нашего совещания уже началась с франко-бельгийской стороны агитация в пользу выступления Италии в „освободительно демократическую“ войну, предпосылкой которой и являлся подкуп или покупка влиятельных органов прессы, а там, где не удавалось это, прямой или косвенный подкуп отдельных журналистов, влиятельных политических деятелей. Результатом этого была широчайшая кампания лжи и инсинуаций против противников войны, обвинения в германофильстве, в предательстве и т. п. К тому времени у г. Муссолини еще не назрел план действий и быть может его слабая воля еще и боролась против всякого рода соблазнов, а потому он, по своему обыкновению, сражался на „двух фронтах“, т.-е. на одном сражался оффициально, а другой имел в резерве. Отсутствуя под предлогом нездоровья на совещании, он отмежевывал себя от „германофильства“ своей партии.

На следующий день мне пришлось быть свидетелем и отчасти поводом оффициального обвинения нас в германофильстве, в котором до этого обвинялись лишь косвенно, намеками, в общих чертах. Теперь же налицо были „конкретные доказательства“. Когда я села в поезд в Милане, чтобы ехать в Лугано, в него с той же целью, кроме членов Ц. К. Музатти и Серрати, село несколько буржуазных журналистов,

привлеченных напечатанным в „Аванти“ извещением о совещании. Я тут же сказала им, что оно будет закрытым, и по приезде в Лугано,—где нас уже ждало порядочное количество товарищей рабочих,—провела резолюцию о недопущении никого, кроме участников совещания. Журналисты тут же начали метать гром и молнию, решили отомстить за то, что им пришлось уехать не солоно хлебавши, а на следующее утро я к великому своему удивлению прочитала в итальянских газетах американски-сенсационное заглавие: „Итальянские социалисты на службе у немецкого правительства“, „Тайное совещание итальянско-швейцарских социалистов для оказания содействия германскому милитаризму“ и т. д. Если память не изменяет мне, в тех же телеграммах и статьях указывалось и на полученные нами „германские“ деньги.

---

На двух заседаниях итало-швейцарского совещания, на которое итальянской партией были делегированы члены Ц. К. Музатти, Турати, Серрати, Моргари, Ратти, представитель итальянских социалистов в Швейцарии Армуцци и пишущая эти строки, а швейцарской, насколько помню, Гримм, Нэн, Риматье, Пфлюгер, Грейлих и Тессинский социалист Марио Ферри, было положено, отчасти бессознательно для самих участников, начало Циммервальдскому движению. Я говорю „бессознательно“, потому что большинство участвовавших верили в то, что Интернационал вернется к своим функциям, исполнит свою миссию, а потому именно и настаивали на созыве Исполнительного Комитета брюссельского бюро.

В таком духе и с такой целью была принята резолюция,—обе партии итальянская и швейцарская требовали наискорейшего созыва брюссельского бюро. Введением и основой этого решения послужила резолюция, предложенная, если не ошибаюсь, Гриммом, в которой первый раз в более ши-

роком масштабе указывалось на империалистический характер войны и на недопустимость для социал-демократов различного отношения к войне и к ее зачинщикам,—господствующим классам и правительствам, — в зависимости от того, является ли данная буржуазия выразительницей союзнических интересов или интересов Центральных империй. „Нет „невинных“ правительств, все они в одинаковой степени виноваты“. Этим самым намечалось и отношение к столь дебатировавшемуся вопросу об обороне отечества. Откладывая принятие конкретных мер, вытекавших из принятых резолюций, до заседания интернационального бюро, итальянско-швейцарское совещание вменяло в обязанность представленным партиям распространение в печати принятых резолюций и положенных в их основание теоретических и практических соображений. Это должно было служить двойной цели: отрезвлению масс воюющих стран от шовинистического опьянения, подготовлению рабочих масс в нейтральных странах к защите нейтралитета. Наряду с этим члены парламентских фракций обеих стран должны были прочитать соответствующие декларации и согласовать общий план действий...

Помню показавшуюся мне трагически символической сцену. После второго послеобеденного заседания поздно вечером мы решили покататься на лодках. Напряженные от сгущавшейся вокруг нас атмосферы нервы требовали отдыха. Турати и Лаццари, ведшие в течение 20 лет ожесточенную борьбу, сели в одну и ту же лодку. Греб, если не ошибаюсь, Лаццари... Вдруг кто-то вспомнил, что нужно было договориться по поводу проектировавшихся парламентских выступлений. Наши лодки остановились и мы долго в абсолютной тишине при ярком лунном свете совещались о том, как предупредить, ограничить надвигавшуюся катастрофу.

Приблизительно к тому времени итальянской партии был нанесен визит, который послужил поводом к бесконечным

комментариям и довольно виртуозно использовался франкофильской прессой против интернациональной точки зрения итальянской социалистической партии. Я остановлюсь на нем несколько подробнее, чем он сам по себе заслуживает, ибо он бросает весьма яркий психологический свет на атмосферу, в которой приходилось жить тогда, и на некоторых лиц, сыгравших позорную роль предательства по отношению к партии.

Осенью, должно быть в конце сентября или в начале октября, 1914 г. я поздно вечером зашла в „Аванти", чтобы почитать „Neue Zeit".

— Знаешь, кто придет в 10 ч. сюда?—сказал мне Муссолини.—Зюдекум.

— Зюдекум?—повторила я несколько удивленно, но, не придавая особого значения сообщению, продолжала читать.

Что Зюдекум, да и вообще кто бы то ни было, мог приехать к нам с дипломатической миссией, конечно, не могло прийти мне в голову; с другой стороны, через Милан проезжало много иностранных товарищей, и никто из них не упускал случая побывать в редакции „Аванти". С именем Зюдекума у меня не ассоциировалось представление ни о лично мне близко знакомом, ни о симпатичном мне товарище. Наоборот, принадлежность его к правому крылу партии, его позиция в вопросе о милитаризме делали его мне чуждым, антипатичным. Когда он вместе с Тревесом зашел в редакцию, я даже не узнала его, а он вспомнил о том, что мы где-то когда-то вместе переводили на интернациональном конгрессе. Меня несколько поразила любезность, с которой Муссолини его принял, несмотря на хорошо ему известный оппортунизм Зюдекума.

Когда Зюдекум сообщил, что он по поручению Ц. К. германской партии хотел бы побеседовать с итальянским Ц. К., я тут же выразила свое удивление, что Ц. К. выбрал такого

резко выраженного ревизиониста, который, по моему мнению, никак не мог выражать точку зрения германской социал-демократии. Сказав это своим товарищам по-итальянски, я тут же сказала это Зюдекуму по-немецки во избежание каких бы то ни было недоразумений. Муссолини попросил меня интервьюировать Зюдекума. Я принципиальный и, если можно так выразиться, органический враг интервью, буквально с лестницы спускала добивавшихся их у меня журналистов и приблизительно так же относилась к интервью вообще. Муссолини это знал, я напомнила ему о своем отношении, но не успела я договорить, как Зюдекум уж положил на стол текст своего интервью, весьма тщательно, ровным почерком, написанного на нескольких листках голубой бумаги. Я обещала перевести интервью, поставив условием, что не сдам его в типографию, пока оно не будет еще раз просмотрено и автором и Муссолини. Я не хотела принимать никакого политического участия, ни брать на себя ответственности за ревизионистскую точку зрения Зюдекума и даже не хотела комментировать ее.

Тут небходимо упомянуть о том, каково было тогда мое положение по отношению к „Аванти". Когда в конце 1912 г. несколько месяцев после того как наша непримиримая фракция („Socialesti intransigents", теперь называющаяся максималистской) одержала победу на конгрессе в Реджио Эмелия, на котором реформисты Биссолати, Кобрини Пожекка и их ближайшие единомышленники были исключены из партии главным образом за их отношение к Триполитанской войне,— Ц. К. партии предложил Муссолини взять на себя редакцию „Аванти". Обычно в итальянской партии при переходе большинства от одной фракции к другой,—все центральные органы переходят к победившей фракции, а не, как в некоторых других странах, к известному пропорциональному представительству между большинством и меньшинством партии.

В Реджио Эмилия реформисты отказались от всякого участия в Ц. К. Естественно, что и бывший при реформистском составе партии главный редактор „Аванти“ Тревес, подал в отставку. После небольшого интерима Ц. К. должен был выбрать окончательного редактора и выбор пал на недавно вернувшегося из эмиграции, стоявшего на крайней левой, Муссолини. В ответ на сделанное ему предложение он ответил: „Приму ваше предложение, поеду в Милан, если со мной в редакцию вступит Балабанова“.

Я никогда не спрашивала Муссолини, почему он поставил такое требование. Инстинктивно мне показалось тогда и кажется еще больше теперь, что он отдавал себе отчет в слабости своей воли, боялся своей теоретической неподготовленности, пробелов в его миросозерцании, боялся ответственности, соблазна; короче, он, быть может, полубессознательно искал кого-нибудь, на кого бы он мог положиться и на кого бы он мог свалить ответственность. В такую форму без всяких предварительных уговоров вылились наши отношения. Я продолжаю думать, что в описываемый мною период, предшествовавший войне, Муссолини еще не был предателем. Если в его жизни был период времени, в течение которого он интересовался чем-нибудь, кроме своего болезненного честолюбия и своего маленького „я“,—теперь умышленно раздутого буржуазной прессой,—то это был период, в который его осенило социалистическое миросозерцание, когда социалистическое движение дало ему политическую и идейную почву. Ни во что другое, кроме социализма, он никогда не верил и верить не будет. Большое тщеславие маленького человека сделало его врагом того самого движения, которому он обязан идейными проблесками своего существования.

В начале 1914 года я покинула редакцию „Аванти“, натолкнувшись на непростительно эгоистичное отношение Муссолини к нашему общему, недавно еще с ним делившему

невзгоды и нужды эмиграции, товарищу. Я всегда считала, сперва инстинктивно, а затем сознательно, на основании широкого и, если можно так выразиться, глубокого опыта, что не может быть служения делу рабочего класса со стороны тех, у кого нет строгого отношения к самим себе, проявления тех революционных, пролетарских черт, которые лежат в основе нашего миросозерцания, которые обусловливают и подчеркивают нашу непримиримую оппозицию к буржуазному миру. Массы, как таковые, большинство людей вообще, не могут отделаться от привитого им самыми социальными условиями, всем нашим бытом, образа чувств, мышления, действий. Я считала бы, в особенности для марксиста, работающего в массах, прямо-таки преступно безграмотным забыть, что „бытие определяет сознание". Но от единичных личностей, от перебежчиков интеллигентов или сознательных рабочих, руководящих движением,—можно и должно требовать *последовательности*. Отсутствие или пренебрежение таковой рано или поздно отзывается на движении, на сфере влияния революционера, реакция масс против такого отношения неминуема и почти всегда наносит вред больший, чем принесенная тем же революционером польза. Когда по поводу детали из повседневной жизни, я убедилась, как скоро и как радикально Муссолини, перенесенный в другую обстановку, забыл о солидарности по отношению к голодающему товарищу,—натолкнулась на отсутствие у него элементарного чувства благородства и мужества, я поняла, что общего языка у меня с ним не найдется, а потому и дальнейшее сотрудничество окажется невозможным. Я ушла из „Аванти", несмотря на самые энергичные настаивания товарищей Ц. К. и редакции.

В описываемый мною момент я уже не принадлежала к составу редакции, но очень часто заходила в нее, помогала чем могла, а потому не удивилась, когда Муссолини просил

меня помочь ему сговориться с Зюдекумом. Лишь впоследствии мне начало казаться, что и эта просьба была не случайной.

На следующий вечер, в установленный с Зюдекумом и со мной час, Муссолини в редакцию не явился, очевидно для того, чтобы „интервью“ Зюдекума попало в газету без его прямого участия и в возможно более компрометирующем немецкое и итальянское движение виде. Хотя мне эта „задняя мысль“ еще не была ясна, я помешала ее осуществлению. Прежде всего я обратила внимание Зюдекума на то, что некоторые его выражения,—главным образом монархического характера, — могут вызвать в читателях „Аванти“ смех и негодование, а затем я заявила, что без комментариев я его интервью в газету не пущу. Зюдекум, интервью и беседы которого, кстати сказать, держались в должных границах и не давали повода считать его агентом империализма, согласился на оба условия. Муссолини пришел лишь поздно ночью. Мне помнится, что я настояла на том, чтобы он отмежевал редакцию „Аванти“ от ревизионистских патриотических взглядов Зюдекума, но сделал он это в весьма мягкой форме.

Зюдекум из'явил желание поехать в Рим для переговоров с остальными членами Ц. К. итальянской партии. Его приезд в Рим, словно бомба, взбудоражил прессу и „общественное мнение“. Одновременно с этим сногсшибательным известием приема „немецкого агента“ итальянской социалистической партией было пущено и второе сенсационное известие, что Зюдекум приехал в Италию по приглашению известной германофилки Балабановой.

Гораздо больше, чем все предыдущее, меня поразил появившийся в прессе протокол заседания Ц. К. итальянской партии с Зюдекумом, в котором приводилась дословно отповедь, с которой член Ц. К. Делла Серрати встретил от имени Ц. К. представителя *германской* партии. Содержание и

тон протокола определенно неприятно подействовали на меня. Это была явная уступка общественному мнению Рима, этого шумного, дышащего сенсацией города, без рабочего населения, пропитанного закулисными интригами парламентских кулуаров. Напечатанием протокола Ц. К. словно хотел оградить себя от порицания этого общественного мнения за то, что он позволил себе вступить в переговоры с немецким товарищем. Мне эта уступка кафе, улице показалась обидной, ненужной, словно умаляющей наше достоинство. Из других членов Ц. К., Серрати тоже был против такого отношения Ц. К. Ни он, ни я не присутствовали на заседании, о котором идет речь, так как это не было заседание пленума, а лишь беседа находившихся в Риме членов Ц. К. с немецким гостем. К тому времени мне пришлось отлучиться на несколько дней в Швейцарию, откуда я была вызвана Муссолини по „важному делу“ в Милан.

Когда я приехала, оказалось, что Зюдекум, возвратившись из Рима, из'явил желание повидать редактора „Аванти“ или меня. Муссолини, отговорившись нездоровьем, просил меня отправиться к Зюдекуму. Очевидно, он уже не хотел „компрометировать“ себя.

---

Франкофильский, теперь правительственный орган, „Popolo d'Italia“, основанный неделю спустя после лишения Муссолини звания редактора „Аванти“, в своей кампании против социалистической партии опирался главным образом на приглашение и вызов Зюдекума. Его имя даже стало спрягаться в страдательном наклонении, — мы все являлись „сюдекуицати“, т.-е. подкупленными Зюдекумом.

---

## Ц. К. Итальянской социалистической партии и франкофильский патриотизм.

Атмосфера вокруг итальянской партии все сгущалась. Ее агитации в стране, на столбцах газет, растущему к ней доверию масс соответствовала все растущая волна клеветы и демагогии. Сношения с воюющими странами становились все труднее, сведения о заключении социал-демократическими партиями классового перемирия, о выступлениях руководителей движения, выдающихся членов бюро действовали все более огорашивающе. Итальянская печать ловко пользовалась всем этим. Партии приходилось защищаться на всех фронтах. Только на столбцах „Аванти“ можно было найти принципиально-непримиримое отношение к войне. И вдруг однажды орган аграриев оповестил миру, что один из наиболее влиятельных членов социалистической партии, наиболее энергично и резко боровшийся против войны, в частном письме заявил, что в случае вступления Италии в войну, отношение к ней социалистической партии будет зависеть от того, к какой коалиции примкнет страна... Автором этого письма являлся тот самый Муссолини, который несколькими неделями раньше, когда франкофильского настроения не намечалось ни в крупной буржуазии, ни в прессе, говорил и писал, что победа промышленной Германии была бы прогрессивным явлением. Теперь мне кажется, что и это „частное“ письмо не совсем „случайно“ появилось в печати, тем более, что адресовано оно бывшему анархисту, затем от'явленному

интервентисту, а теперь заведующему политическим сыском в фашистской Италии...

Результатом обнародованного прессой письма был немедленной созыв Ц. К. в Болонье. В день заседания, во второй половине октября, нас ждал еще один сюрприз. Сев в поезд часов в 7 вместе с Муссолини и другим членом Ц. К., я нашла в нашем центральном органе статью, обосновывавшую точку зрения, выраженную в упомянутом письме. „Вооруженный, готовый к вступлению в войну нейтралитет",—так характеризовалась платформа, на которой по мнению „влиятельного члена Ц. К." должна была отныне стать партия, пролетариат. Писалось это не в частном письме, а в центральном органе партии. Прочитав статью, я сказала ее автору:

— После этого не остается ничего иного, как либо дать себя запереть в дом умалишенных, либо, выйдя из партии, итти на фронт.

— Весь Центральный Комитет партии перейдет на мою сторону,—ответил мне с необычно и для него холодным, неподвижным выражением глаз, уже тогда начавший быть одержимым манией величия Муссолини.

Нечего говорить о том, что на всех членов Ц. К. эта статья произвела одинаково ошеломляющее впечатление. Его напечатание в день заседания было обдуманным: не имея мужества и аргументов, которые он мог противопоставить аргументам членов Ц. К., автор статьи хотел поставить их лицом к лицу с свершившимся фактом, создать гарантию той стороне, перед которой он уже был ангажирован, в том, что он, уже не колеблясь, пойдет по обещанному пути... Слабовольному существу нужна была такая обстановка, при которой нет возврата. Нужно было создать непреоборимую реальную преграду между собой и словами и влиянием своих товарищей. Заглушить голос правды, совести, собственного убе-

ждения существованием статьи, не дававшей возврата... к собственному прошлому.

Как в большинстве случаев, атаку в заседании Ц. К. просто, без обиняков открыл Серрати: „Такие возрения недопустимы для центрального органа социалистической партии, редактор нарушил всякую дисциплину, перешел всякую границу. Ц. К., должен сразу положить конец создавшемуся положению".

В таком духе высказались все без единого исключения члены Ц. К., в словах всех звучала глубокая тревога. Над всем нашим заседанием витал дух трагедии. Второпях, побуждаемые необходимостью принять серьезное решение, от которого зависела участь и честь партии, мы, уже гонимые, преследуемые, собрались в скромной маленькой комнате Болоньи—не в Риме и не в Милане, где наши деловые заседания обставлялись всегда более или менее торжественно, куда являлись товарищи из провинции, или устраивались митинги по случаю нашего приезда... Дух войны, побеждающей реакции словно уж преследовал нас.

Болонья была еще и потому выбрана местом заседания, что в окрестностях за несколько дней до того произошло очередное столкновение жандармерии с рабочими-батраками. Организации просили Ц. К. отправиться на место происшествия, чтобы воочию убедиться, как все произошло...

В маленькой комнате было тесно и душно. Муссолини молча выслушивал доводы и упреки товарищей. От его молчания становилось еще тяжелее,—очевидно кое-кто еще надеялся повлиять на него, считал его статью необдуманным шагом, от котораго можно отговориться, вернуться к прошлому. Большинство товарищей хотели дать ему эту психологическую, политическую возможность, другие, как Серрати, уже не верили в нее. И мне уже возвращение Муссолини казалось и невозможным и нежелательным,—такой глубокой

показалась мне пропасть, такой зияющей рана, нанесенная движению, партии, пролетариату. Однако, бесконечно жалко было сидевшего пред нами безмолвно.

— Не думай, вырвалось у меня, что в тебе нуждается „Аванти“, в пролетарской партии нет незаменимых работников, ты с успехом будешь заменен, и пролетариат тебя забудет, но вспомни о твоем прошлом, о том, что пролетариат тебе дал, смотри, ты катишься прямо в об'ятия его, твоего худшего врага...

Редко приходилось видеть такой холодный, полный злобы и мести взгляд, с которым он молча смотрел на нас, когда ему об'явили, что он отныне не является редактором „Аванти“ и что ему обеспечат на некоторое время существование. Он ответил:

— Ничего мне не нужно. Я сломаю перо, ни слова не буду писать. Каменьщиком буду работать за 5 франков в день.

Тому, кто видел этот взгляд, слышал этот тон, понятно, как далеко могло увлечь чувство злобы и мести этого слабовольного человека, вообразившего, что партия побоится его потерять,—пойдет на уступки.

Дней 10 после принятого решения, „никогда не писать ни слова“, „сломать перо“, „жить на 5 франков в сутки“,— бывший революционер оказался основателем-редактором громадной франкофильской антисоциалистической газеты, в заголовке которой красовалась цитата Бланки, а текст всецело был посвящен борьбе с социализмом, с пролетариатом, Интернационалом, со вчерашними товарищами, с вчера еще провозглашенными лозунгами.

---

В партии и классовых организациях решительное выступление Ц. К. против Муссолини вызвало полное одобрение. Через некоторое время он был исключен из партии Миланской организацией, к которой он принадлежал. Всего не-

сколько интеллигентов солидаризировались с ним. В массах он не нашел ни малейшего отклика. Верный инстинкт побудил их тут же отвернуться от недавно еще любимого вождя. Цинизм его предательства помог им тут же вырвать с корнем всякое уважение, привязанность к нему. Убежденность и чувство классового достоинства оказались гораздо сильнее приписываемого массам итальянским, в частности, фетишизма.

В связи с разгоравшимся аппетитом империалистических держав и полнейшего развала Интернационала, положение итальянской партии делалось все труднее. Ее старания были обращены на то, чтобы оградить итальянские рабочие массы от вовлечения в войну и на то, чтобы спасти, если не организацию, то во всяком случае дух Интернационала. После Луганской конференции попытка созвать бюро Интернационала или по крайней мере заставить его занять определенную позицию по отношению к войне и изменившему идеалу пролетарской солидарности партиям побудила Ц. К. итальянской партии послать в Париж, куда часто прибывали члены Ц. К. брюссельского бюро в частности его председатель Вандервельде, представителя Итальянскаго Ц. К. и Моргари. Дошло до того, что на настояния Моргари, находившегося там в контакте с русской социал-демократической эмиграцией — созвать бюро, Вандервельде ответил... что оно является заложником союзников и что о созыве его членов не может быть и речи... до восторжествования „демократии, справедливости и т. п.“, другими словами, до победы союзнического империализма. Попытки голландских и американских социалистов созвать совещание социалистов одной из коалиций или социалистов нейтральных стран по понятным причинам только еще уменьшили престиж Интернационала.

Одних теоретических аргументов для защиты против искажений буржуазной прессы, хоронившей с организацией

Интернационала и самую возможность создания и победы таковото, было недостаточно, недостаточно главным образом для ограждения масс от индифферентизма, недоверия, заражения их социалистическим ядом, жертвой которых делались один за другим большинство рабочего класса и в более развитых странах, чем Италия. Вся и все жадно прислушивалось к тому, не раздается ли голос социалистического протеста против войны. Как уже приходилось упоминать, Италия была и до вступления ее в войну ограждена такой же стеной цензурных и других преград,—как и воюющие страны. Чтобы помочь партии и „Аванти“ выйти из этого словно заколдованного положения, я решила переехать в Швейцарию.

Пользуясь прессой различных стран и информацией редактировавшейся Р. Гриммом лево-социалистической газеты „Berner Tojwaat“, я старалась держать своих товарищей в курсе внутренней жизни социалистических партий и зарождавшейся оппозиции... Мне удалось, между прочим, сообщить „Аванти“—до опубликования ее в других газетах—декларацию Карла Либкнехта.

Когда мне был доставлен еще не пущенный в обращение манифест австрийского социалистического меньшинства, главным автором которого являлся Фридрих Адлер, с мужественным для того времени протестом против войны, правительства и впавшей в патриотизм части социалистической партии—передо мной ясно предстало не только его громадное политическое значение, но и вздох облегчения, струю надежды и интернационалистического сознания, которое он не преминет вызвать как раз в Италии, важности и большой конспиративности этого документа, в виду вынужденной его анонимности, о деталях которой писать было неудобно, я решила сама вручить его Серрати, состоявшему тогда редактором „Аванти“, дабы у него не могло быть сомнений в проис-

хождении его. Напечатав ночью итальянский перевод на машинке, я утром рано выехала из Цюриха на швейцарско-итальянскую границу, где мы и встретились в какой-то грязной корчме поздно вечером. Воспоминания об этой поездке, о сопровождавших ее волнениях, о передаче редактору „Аванти" столь долго жданного проявления пролетарского интернационализма, приобрели для меня современем характер чего-то символического. На другое утро, когда в Милане Серрати через „Аванти" оповещал рабочих о том, что брешь в австрийском патриотизме сделана, что австрийский народ не единодушно восторженно относится к войне, в это самое утро я в Цюрихе читала телеграмму итальянского бульварно-патриотического органа о том, что я кллалась вернуться в Милан лишь когда над ним будет развеваться австрийский национальный флаг, а в другой газете, бывший рабочей, прочитала, что Франц-Иосиф и Вильгельм II пожаловали мне, Лаццари и Турати, орден Железного Креста и Черного Орла за отстаивания австрийско-германских интересов...

К этому же периоду травли остававшихся верными своим интернациональным убеждениям итальянских социалистов относится несколько эпизодов, в которых особенно рельефно, до комичной чудовищности, отразились методы господствующих классов и бывших революционеров в борьбе с „внутренним врагом". В то время я, как уже упомянуто, не жила в Италии, а только наезжала туда на заседания Ц. К. или по другим партийным поводам. Каждое появление мое в Италии сопровождалось сенсационными известиями о цели поездки, о полученных от немцев поручениях, деньгах и т. п. Митинги нередко оканчивались рукопашными схватками между прерывавшими меня криками: „Да здравствует Франц-Иосиф!" и приверженцами партии революционного интернационализма.

Однажды, когда я из Берна отправлялась во Флоренцию на созванное там заседание, меня вызвали по телефону. Ан-

глийская социалистка, член „Независимой Рабочей партии“, имевшая письма ко мне от английского товарища, просила назначить ей свидание. Узнав от нее, что и она в тот же день едет в Италию, я обещала повидаться с ней в Милане. Моя новая знакомая оказалась пацифистской Гобгуз, известной в связи с ее мужественным выступлением против британского империализма во время англо-бурской войны. В европейской войне она собиралась сыграть также обличительную роль по отношению к отечественному правительству. Как и большинство участниц английского рабочего движения интеллигентского происхождения ее поколения, она была раньше всего и больше всего пацифисткой и демократкой, искренним противником всякого насилия. Несмотря на то, что ее подход к войне и ко всему остальному был совершенно другой, чем у меня, я прониклась к ней громадным уважением и по сию пору сохранила о ней впечатление, как о человеке цельном, мужественном, самоотверженном. Целью ее приезда на континент было желание пробраться в Бельгию, воочию убедиться в том, чем германское варварство по отношению к бельгийскому населению отличалось от британского; знакомство со мной имело целью войти в сношение с противниками войны в Италии. На ее вопросы по этому поводу и на просьбу свести ее с наиболее влиятельным пацифистским движением, я сказала ей, что единственным серьезным последовательным противником империалистической авантюры является социалистическая партия и обещала познакомить ее с Серрати.

Когда он на следующий день явился в гостиницу, в которой мы обе жили, он рассказал мне, что гостиница была окружена агентами Муссолини. Оказалось, что его приверженец, оставшийся сторожем в „Аванти“, донес ему о свидании, назначенном мною Серрати, для беседы с иностранным гостем. Тут же была сфабрикована статья о том, что я при-

ехала в сопровождении влиятельного члена немецкой социал-демократии для передачи денег редактору „Аванти“ в пользу кампании против войны. Статья было уже поступила в типографию, когда одному из информаторов захотелось поближе познакомиться с положением дел... Когда он прочитал имя, внесенное в книгу гостиницы, услышал произношение мнимой немки, увидел ее лицо, походку, сопровождавшую ее мисс—ему пришлось отказаться от пущенной было утки...

Аналогичный инцидент имел место через несколько месяцев. Садясь в Цюрихе на трамвай, я услышала крикливое ко мне обращение.

— Ах, синьора, сам бог вас привел сюда.

Предполагая, что меня узнал видевший меня на каком-нибудь митинге восторженный южанин, я не обратила особого внимания на приближавшегося ко мне незнакомца, по виду и тону которого ясно было, что он не рабочий, не партийный товарищ. Он не успокаивался, а, наоборот, все оживленнее продолжал.—Ах, я из-за вас приехал в Швейцарию. Не зная ни слова по-немецки,—продолжал он,—я даже не знал, как искать вас и вот первый человек, которого я встречаю в незнакомом мне городе—вы... Вы мне так нужны! В Милане начала выходить большая иллюстрированная газета, печатает только оригинальное, важное, новое. Редакция прислала меня в Цюрих, чтобы интервьюировать вас?

— Меня? — интервьюировать? — об этом не может быть и речи! Напрасно вы в таком случае приехали, я принципиально не даю интервью.

— Как! Разве вы не знаете, что о вас пишут? — И, вынув записную книжку, он прочитал перечень обвинений. —Вы не русская, а немка. Вы получили деньги от германского правительства. Вы послали Грейлиха в Италию с немецкими деньгами...

Кроме чувства брезгливости эти давно мне известные обвинения ничего вызвать не могли. Я повторила, что ника-

ких об'яснений давать не намерена и продолжала читать газету.

— Синьора, синьора,—прервал меня жалобным голосом мой сосед. — Вы не узнаете меня? Я сам бывший революционер, когда-то даже анархистом был, а затем работал в демократической газете. Помните, я однажды пришел на ваш реферат в Бирже Труда в Милане, вы рассердились, сказали, что не хотите буржуазных журналистов. Помните мою рецензию?

Настаивания начали делаться назойливыми и я уже собиралась встать, когда мой собеседник прибавил.

— Синьора, помогите мне,—пожалуйста; я долгое время был без работы, только что поступил в редакцию новой газеты. Интервью с вами сразу укрепит мое положение, если же я вернусь ни с чем, моей карьере будет нанесен страшный удар...

Его вид придавал его словам характер большой правдоподобности,—потрепанное пальто и даже как будто голодное выражение лица. Признаться, мне очень трудно устоять против страданий. Я считаю не только долгом, но и правом во всех тех случаях, где нет конфликта между интересами социализма и солидарностью с индивидуальными страданиями, делать все возможное, чтобы облегчить страдания. В нынешнее время приходится оговариваться, ибо и в наших революционных кругах склонны смешивать проявления человеческой солидарности со... слабостью или сантиментальностью. В упомянутом случае: отступиться от принципиального отказа давать интервью и реагировать на гнусную клевету я и не думала, конечно, и после „исповеди“ журналиста, но помочь ему лично очень хотела. Пригласив его вечером зайти, я, дабы ему все-таки не вздумалось придавать личной беседе характер интервью, просила товарища, редактора социалистического органа для итальянских эмигрантов „Avvenire del lavvatore“ прийти ко мне в тот вечер. Когда я вошла

в Цюрихскую читальню, где большинство русских эмигрантов коротало тогда за чтением газет время, сопровождавший меня журналист несколько смущенно сказал...

— Синьора, хотя я, конечно, не верил тому, что о вас пишут газеты, они, однако, так много писали, что я думал застать вас окруженной по крайней мере 7-ю немецкими шпионами, а теперь вот вижу вас в такой обстановке, что я напишу?"

Поздно вечером, когда мы с упомянутым товарищем пошли проводить незнавшего город иностранца из итальянско-еврейского квартала, в котором я жила, по направлению к вокзалу, мы издали в тумане увидели небольшую группу итальянских рабочих. По мере того как они приближались к нам и становилось виднее убожество их одежды, журналисту делалось все более неловко.

— Как наш престиж заграницей падает от эмиграции, разве швейцарские рабочие ходят такими оборванными, приходится стыдиться...—говорил он мне, словно извиняясь за своих соотечественников. Мы как раз вплотную подходили к ним...

— Ах это наша Анжелика!— воскликнули они в один голос. Куда так поздно, не проводить ли тебя?

Я почувствовала, как на итальянского гостя подействовала эта встреча, мне показалось, что ему сделалось неловко перед самим собой, перед своим революционным прошлым, неловко за повод, по которому приехал, неловко передо мной. Мне как-то жалко стало его, хотелось поскорее проститься, уйти, когда он, вдруг прерывая гробовое молчание, очевидно с искренним волнением сказал.

— Нет, синьора, вас за шпиона я никак выдать не могу. Вы не предаете моего отечества. Вы друг и сестра моих несчастных изгнанных соотечественников...

---

## Интернациональная женская социалистическая конференция, Берн 1915 г.

Нить психологических ассоциаций, которой я единственно руководствуюсь в настоящей попытке восстановить в памяти впечатления и переживания, отвлекла меня несколько от соблюдения хронологического порядка.

Еще осенью 1914 года я была вызвана Кларой Цеткин, как-то пробравшейся заграницу, в итальянскую Швейцарию. Я застала ее больной, сокрушенной позорным поведением Интернационала и в особенности немецкой социал-демократии. Хотя мне во время войны пришлось иметь дело с многочисленными представителями оппозиции, потрясенными поведением большинства собственно партии, готовыми на разрыв с ней, на обличение ее перед лицом международного пролетариата, я никогда не видела таких глубоких и страстных переживаний, как те, которые проявлялись К. Цеткин. Она казалась окончательно пораженной физически и психически. Страстность ее переживаний соответствовала цельности и многогранности ее натуры, всецело отдавшейся служению делу социализма. Долголетнее сотрудничество, товарищеская близость и солидарность с теми, кто оказался не на высоте положения в столь решительный для Интернационала и немецкого движения момент, придавали ее настроению, ее выражениям еще более гневный, подчас озлобленный характер. По весьма понятным психологическим причинам, представители оппозиции, выражаясь короче, Цим-

мервальдцы всех стран, к чести их будь сказано, проявляли гораздо больше строгости по отношению к социал-патриотам собственной, чем чужих стран. Отчасти это об'яснялось и недостаточной осведомленностью, главным же образом вышеуказанными психологическими обстоятельствами.

Вскоре после своего возвращения в Германию К. Цеткин начала мне писать об эвентуальном созыве экстраординарной интернациональной женской конференции. В созыве ее оказал нам содействие Р. Гримм, очень скоро ставший центром интернационалистической оппозиции войне. В редактируемом им органе „Berner Tagvacht“ впервые нашли убежище статьи и воззвания немецкой оппозиции и в частности находившегося тогда в Швейцарии К. Радека (Parabellum). Находившиеся тогда в Швейцарии русские социал-демократки, в частности Инесса Арманд, Н. К. Крупская, Зина и др., с своей стороны вступили в переписку с тов. Цеткин по поводу созыва конференции. Представители Ц. К., жившие в Швейцарии, и вообще все социал-демократы - интернационалисты, отнеслись сочувственно к этой инициативе. К. Цеткин отправилась для подготовки конференции в Голландию, встретив со стороны тамошних социал-демократок самое деятельное содействие, политическое и материальное, для осуществления этой первой инициативы международного социалистического характера с начала империалистической войны. Я с своей стороны поехала в Италию, и из Швейцарии, перепиской, нелегально подготовляла совещание, созванное на конец апреля в Берне.

По выработанной и принятой на этом совещании программной резолюции и директивам агитации и пропаганды, эта конференция положила основание, заложила фундамент дальнейшего Циммервальдского движения. Точно также в ней отразились и те два течения,—порой их казалось три,—которые проявились в недрах Циммервальдского движения.

В рамки моих „личных“ воспоминаний я не ввожу ни резолюций, ни других документов уже потому, что они в свое время были мною собраны и будут напечатаны в отдельном томе Венского „Архива по рабочему и социалистическому движению“. Буду делиться лишь общими впечатлениями и останавливаться лишь на том, что в момент переживания казалось наиболее рельефным. Мне кажется, что, только придерживаясь такого метода, можно ретроспективно с наибольшей точностью восстановить психологическую обстановку принятых по тому или другому поводу решений. На фоне понимания психологической обстановки становятся наиболее доступными пониманию конкретные решения.

Женская международная конференция явилась первым после Луганской конференции совещанием международного характера гораздо более широкого состава, — в Лугано участвовали, как известно, лишь представители от Швейцарии и Италии;—в Берне же, на женской конференции, присутствовали делегатки из Германии, Франции, Англии, России, Голландии, Швейцарии, Польши. Главной политической задачей этой конференции, в которой заключалась ее историческая роль, было старание показать массам воюющих и нейтральных стран, с одной стороны, правительствам, правящим классам и бывшим интернационалистам, с другой стороны, что война не отозвалась на отношении сознательных рабочих и их социалистического авангарда к братьям и сестрам других стран, ни к принципам и тактике пролетарского международного движения. На фоне тогдашней психологической обстановки такое заявление, подписанное представительницами различных воюющих между собою стран, должно было иметь большое влияние на поднятие духа масс и престижа революционного движения всех стран. Одно то, что представители стран, правительства которых об'явили друг другу „войну до конца“, перед всем миром подчерки-

вали единство интересов, стремлений рабочих масс этих стран, их веру в революционную борьбу, как единственное средство борьбы против войны и ее причины—эксплоатации человека человеком,—уже являлось революционным шагом, о значении которого могут иметь точное представление лишь те, которым пришлось жить в то страшное время. Каждый день, каждое газетное известие оповещало мир о новом поражении рабочего класса, о новом переходе с точки зрения социализма, пролетарской солидарности, на точку зрения классового перемирия, классовой гармонии. Лозунги борьбы, конкретные меры ее применения, уже сами собой вытекали и отступили на второй план перед фактом единодушного выступления против войны социалистических делегаток воюющих стран.

Принятию резолюции, как всегда, предшествовали доклады из разных стран. Сколько в них было ужаса, сколько тревоги за будущее, сколько упований на то, что воскреспувший Интернационал положит конец войне, установит братство народов. Сколько потрясающих подробностей о неожиданности разразившейся катастрофы, о письмах с фронта, о нужде и отчаянии в тылу, о шовинизме пытающихся отравить наростающее поколение. Своеобразно звучала в хоре общего отчаяния речь сдержанной английской делегатки, если не ошибаюсь уроженки Австралии, о том, каким животворящим лучом надежды просияло во мраке общего безверия, безысходности известие о том, что Клара Цеткин осталась верна Интернационалу. По мере того, как рослая, энергичная, уравновешенная делегатка, в простых сжатых выражениях, без всякого пафоса, описывала это настроение, перед нами вырисовывались силуэты согбенных трудом, заботой, горем женщин-работниц, жен и матерей солдат, оживавших от надежды на пролетарскую солидарность, на социалистическое перерождение общества, символом которого

служила поседевшая в борьбе, но не стареющая душой секретарь Женского Интернационала, Клара Цеткин.

Среди делегаток обращала на себя внимание мужеством и добросовестностью, цельностью миросозерцания и серьезным, всесторонним подходом ко всем вопросам, бывшая французская белошвейка, добившаяся звания учительницы Луиза Самоно. Отчасти она завоевывала симпатию и доверие тем, что в ней обнаруживались качества, не часто встречающиеся у французских товарищей и тем менее у женщин. Подход у нее был не пацифистский, не индивидуалистический, а марксистский. Мне пришлось видеться и беседовать с ней ежедневно в течение месяца и ни разу не натолкнуться на противоречие или колебание. Преследования, которым она подвергалась в виду своей кампании во время войны, и поведение на суде, оправдали доверие, которое она внушала своим выступлением на конференции.

Четыре английских делегатки Марион Филипс, Маргрэт Бондефильд, Мэри Лонгман и известная антимилитаристка Слатер, проповедывавшая индивидуальное неповиновение милитаризму, исходя из моральных побуждений „couscientious obgectors" представляли собою идеологически и политически различные течения, общим знаменателем было, как, впрочем, и среди всей конференции, враждебное отношение к войне. Но в то время, как представительницы других стран исходили из того, что причиной войны является капитализм, а средством борьбы с ней—классовая борьба, среди английских товарищей были и противницы насилия вообще, приверженцы непротивления насилию и индивидуального неповиновения милитаризму.

Нужно было найти форму, с которой могли бы согласиться все присутствующие,—в единодушии заключалось революционное и агитационное значение Конференции. Помню, в какое отчаяние пришла Клара Цеткин, когда при обсуж-

дении резолюции товарищи-большевики заявили о своем разногласии, предлагая резолюцию, которая впоследствии легла в основание лево-Циммервальдского течения; она казалась неприемлемой большинству делегаток. Заседание было прервано для переговоров между К. Цеткин и представительницей Ц. К. Р.-С. Д. Р. П., Крупской, Инесой, Зиной и Равич. Переговоры к общему облегчению привели к желательному результату: резолюция большинства была принята единогласно, с тем, чтобы резолюция меньшинства была занесена в протокол и опубликована. Главным доводом для единогласного принятия этой резолюции являлось страстно подчеркнутое Кларой Цеткин соображение: „если бы, паче чаяния, резолюция была бы принята не единогласно, враги социализма не преминули бы раздуть и исказить это обстоятельство приписываемого его разногласиям национального характера, невозможности найти интернациональный лозунг для борьбы с войной.

Наряду с принятой резолюцией конференции надлежало написать воззвание-манифест пролетаркам всего мира. Эта часть нашей работы казалась мне и гораздо важнее и несомненно труднее первой. Будучи выбрана в комиссию для представления конференции проекта воззвания, я чувствовала, что не справлюсь с своей задачей. Вообще в моей политической деятельности я привыкла гораздо больше интересоваться, считать более важным вовлечение масс, умение подойти к ним, побудить их самостоятельно и сознательно отнестись к данному вопросу, чем политические резолюции, которые остаются достоянием меньшинства. Должна сказать, что я всегда с удивлением, а подчас с известного рода завистью следила за тем, какое громадное значение некоторые, в особенности, русские товарищи, придавали численному результату голосования резолюций, с каким горячим пылом они отстаивали всякую деталь. Для меня центр тяжести всегда лежал в другой плоскости. Быть может, это зависит от моей общей

установки: когда мне приходилось говорить на громадных митингах перед десятками тысяч людей или на меньших партийных собраниях, мною всегда руководило старание открыть доступ к социализму *наименее к этому подготовленным*, наиболее нуждавшимся в развитии. Мне тогда казалось, что я совершила бы преступление, если бы вместо того, чтобы открыть глаза бессознательному, забитому, политически безграмотному, я бы распространялась о том, что интересно и доступно лишь привилегированным слоям. Когда я обдумывала свои рефераты, я вседа имела перед глазами наиболее обездоленную часть слушателей. Опыт показал мне, что этот метод, подсказываемый мне вначале этически революционными соображениями, является и педагогически и политически наиболее целесообразным. Агитация может лишь тогда быть успешна, когда вся аудитория следит за словами оратора, понимает и переживает их. Для того, чтобы достичь этого, нужно завладеть вниманием аудитории, победив недоверие и безразличие *бессознательных* слушателей, т.-е. добиться того, чтобы в публике не осталось ни одного безучастного, ни одного пассивного, ни одного непонимающего. Создав такую обстановку, оратору уже не трудно касаться и других областей, говорить другим тоном. Быть очень элементарным и вместе с тем не впадать в общие места гораздо труднее, чем это кажется на первый взгляд.

Где было найти слова, чтобы облечь в них то, что первой социалистической конференции нужно было сказать наиболее отсталому и вместе с тем наиболее глубоко пораженному войной элементу—женщинам? Не только работницам и крестьянкам, а и женам, матерям солдат, которым предстояло заменить отсутствующих мужчин не только в семьях, на фабриках, но и в классовой революционной борьбе против войны, за социализм. Помню, какое я почувствовала облегчение, когда, наконец, нашелся ключ, подход к воззванию.

Оно начиналось вопросом: „Пролетарка, где твой сын, твой муж"... Впоследствии оказалось, что социализм нашел доступ к тому, что так трудно поддается влиянию: к сердцу, к здравому смыслу обездоленных среди обездоленных.

Манифест-воззвание распространился во многих тысячах экземпляров в разных странах.

Он призывал женщин подняться над искусственными, окровавленными границами, подать друг другу руку через горы трупов, моря крови, океаны слез. Он призывал матерей не видеть врага в убившем ее сына пролетарии, а в классе, который вооружил невольного убийцу. Воззвание стремилось к тому, чтобы мозолистые руки, привыкшие трудиться и складываться для молитвы, соединялись в неразрывную цепь международной солидарностью, чтобы глаза, привыкшие плакать, подниматься к небу и опускаться с чувством покорности, раскрылись раз навсегда и устремились бы на зарю восходящего социализма, освобождения народов от всякого рабства.

Таков был завет и лозунг первой международной экстраординарной женской конференции, созванной вопреки запрету правительств, вопреки бойкота и запрета социал-демократических большинств Германии, Австрии, Франции, Бельгии.

Брешь была пробита.

Голос Интернационала прозвучал...

---

## Интернациональная конференция социалистической молодежи. — „Дело Грейлиха“.

Через неделю, на пасху 1915 года, в Берне же, в том же народном доме, собрались представители социалистической молодежи, прямых жертв и участников империалистической бойни. Этот с'езд является интернациональным лишь поскольку организаторы и участники стремились придать интернациональный характер своим решениям, своим выступлениям, поскольку они хотели воскресить в молодежи дух пролетарского Интернационала. Но по своему составу он интернациональным не был,—из воюющих стран лишь Германия была представлена молодым пролетарием, нелегально перешедшим границу, русская и польская молодежь была представлена членами партии, жившими в Швейцарии, другие воюющие страны не имели возможности прислать делегатов. В основу дискуссии была положена резолюция, по смыслу и политической тенденции соответствовавшая принятой на женской интернациональной конференции. Ей противоставлялась уже упомянутая по поводу женской конференции резолюция представителей русского Ц. К. Р.-С. Д. Р. П. польской и литовской, если не ошибаюсь, делегации. Помню, с какой трагичной идентичностью повторилась обстановка женской конференции, подобно организаторше женской конференции К. Цеткин, молодой немецкой пролетарий был в отчаянии при мысли, что придется разойтись, не достигнув единогласия. Агитационный смысл этой, как и предыдущей, конференции заключался в возможности об'явить друзьям и врагам рабочего

класса, что принципы и тактика пролетарской солидарности, несмотря ни на что, живут в сердцах и умах пролетарской молодежи, сознательные представители которой своей подписью закрепляют международный союз в самый разгар войны. Перед этим соображением все остальные отступили на задний план. Отсутствие хотя бы одной подписи на резолюции—какова бы ни была позиция воздержавшихся от голосования или голосовавших против—буржуазной и псевдо-социалистической прессой были бы подхвачены, как доказательства непримиримых национальных разногласий. . . . В таком случае было бы лучше „не собираться", говорил со слезами в голосе немецкий товарищ, в большом волнении описывая трудности нелегального путешествия, надежды, которые окрыляли его, когда он решился на него. „Что скажут делегировавшие меня товарищи, что скажут солдаты в окопах, когда придется вернуться ни с чем?" Конференция была прервана в течение нескольких часов, всех словно кошмар давил,—казалось, вот-вот придется разойтись ни с чем, не намечалось никакой возможности соглашения. Настроение было крайне напряженное, нервное.

Затем, как почти всегда бывает в таких случаях, нашелся компромисс. Если не ошибаюсь, тов. Гримм, сопровождаемый кое-кем из делегатов и интернациональным секретарем социалистической молодежи Мюнценбергом, отправился на квартиру В. И. Ленина, где находились представители меньшинства, и пришли к конкретному примирительному решению. Если память не изменяет мне, оно, как и в первом случае, заключалось в обнародовании резолюции меньшинства, голосовавшего на конференции вместе с другими делегатами.

Трудно описать восторг юного немца, горячий пафос, с которым он об'явил и на конференции и на вечернем митинге о единодушном решении и стремлении авангарда молодежи всех

стран. И в только-что описанном случае мне пришлось с удивлением констатировать громадное значение, придававшееся русскими товарищами-эмигрантами резолюциям и малейшим в них оттенкам полемического характера.

Для меня целью конференций, воззваний, резолюций, пропаганды была необходимость встряхнуть ту густую массу бессознательных и равнодушных, покорных рабов капитализма, которые понятия не имели об Интернационале, в которых следовало, напрягая все усилия, пользуясь созданной войной обстановкой, пробудить элементарное чувство возмущения, инстинкт личного и классового самосохранения, личное и классовое достоинство. Быть, может, меня и в те минуты и во время тех размышлений, как тень, сопровождала мысль о наиболее отсталом пролетарии, которого я привыкла искать в гуще многолюднейших собраний, которого я раньше всего и больше всего старалась приобщить к социалистическому миру. Этот отсталый, безразличный, смиренный пролетарий являлся для меня символом непочатого угла революционной работы среди масс, был самым сильным стимулом моей работы, причиной неудовлетворенности, никогда меня не покидавшей, даже когда после многочисленных митингов, на которых удавалось встряхнуть, я возвращалась домой с сознанием, что день прошел не безрезультатно. Маленькая толика достигнутого результата раскрывала передо мной все более и более широкие горизонты покорности и отсталости масс, все более широкие горизонты работы в массах. А прямое соприкосновение с массами в самой разнообразной непосредственной обстановке раскрывали передо мной все новые психологические оттенки, возбуждали желание приблизить к нашему миру наиболее от него далеких. Вот почему за всю мою долголетнюю деятельность в Италии, в течение которой не осталось ни одного уголка, в котором мне ни приходилось бы хоть раз выступать перед рабочим населением,—даже когда была членом Ц. К.

и редакции центрального органа, я уделяла лишь минимум времени, а тем более внимания проводимым в партии резолюциям. Когда после митинга, на котором путем громадного психологического напряжения мне удавалось завоевать аудиторию и я чувствовала, что недоверия и косности по отношению к нашим взглядам не существует, когда старание слиться с душевным уровнем слушавших меня пролетариев достигало желаемых результатов и я видела, что они чувствуют во мне своего, совсем своего человека, когда после митинга они не расходились, а присоединялись к провожавшим меня членам партии, я считала эти вот часы, проводимые в углу рабочего клуба или в кафе, продолжением предыдущих, их добавлением. Эти пролетарии и пролетарки шли в нашу среду, почувствовав, что принадлежат к ней, и, говоря о своей участи, о своих переживаниях в прошлом и настоящем, продолжали начатое на митинге сближение. Сказать, что я многому, бесконечно многому научилась во время этих неподготовленных, неожиданных бесед, значило бы придать характер искусственности тому, что являлось прямо противоположным этому. Несомненно, однако, что как раз эти беседы обогащали опыт, облегчали понимание пролетарского настроения, давали богатый материал для дальнейших выступлений. Касаюсь я этого психологического момента потому, что характер он носил скорее коллективный, чем индивидуальный, создавшаяся атмосфера была результатом коллективных переживаний, труда, страданий, стремлений целых поколений. И если мне, пользуясь накопившимся опытом, страданием, переживаниями трудящихся поколений удавалось оставить в слушателях зачаток или след переживаний, ассоциаций, эмоций, обобщений, стремлений, которых у них не было раньше, то на меня доказательства этого действовали обновляюще, ободряюще, творчески. В такие моменты, а ими заканчивались опчти без исключения все митинги и рефераты, на которых

мне приходилось выступать, мне и в голову не приходило создавать внешние или психологические преграды между партийной и беспартийной публикой, мне не хотелось вызывать сознание, что беспартийная публика не совсем у себя, не хотелось дать ей почувствовать ее неподготовленность, заговаривая на недоступные, еще не интересовавшие ее темы. На беседы чисто партийного, организаторского характера, на то, чтобы ответить на вопросы товарищей и самой ориентироваться в местных условиях, на то, чтобы поделиться директивой центральных органов партии, или взять на себя поручение от местных организаций к центральным органам—хватало времени и энергии, но это не стояло в центре моих стремлений. Я даже должна признаться, что сознательно избегала выступлений принаравливавшихся к принятию какой-нибудь резолюции фракционного характера, мне казалось, что всякое вмешательство влиятельного приезжающего из Центра товарища — в особенности товарища-агитатора, — нарушает самостоятельность подхода к вопросам, непосредственность принимаемых решений. Точно такого же метода я придерживалась, когда речь шла об исключении членов организации, о разрешении конфликтов и т. п. Когда меня партийная организация звала, или Ц. К. посылал для раз'яснения какого-нибудь важного или злободневного вопроса, я разбирала его теоретически под углом зрения принципов и тактики партии, — конкретное решение должно было вылиться само собой без моего личного вмешательства. Очень часто, окончив речь, я уезжала, резолюция принималась или без меня, или на другом собрании. Этот подход является частью плодом моих долгих критических размышлений о роли агитатора-интеллигента, о желательной границе его влияния. Мне не раз приходилось учитывать, как много внешнего, случайного на мой взгляд, социалистически и педагогически неприемлемого—способствует успеху и влиянию умеющего

владеть словами оратора. Этого вот случайного, на мой взгляд неприемлемого, я всегда старалась избежать; иными словами, я старалась действовать содержанием, а не формой, сущностью, а не внешним атрибутом. Я стремилась к тому, чтобы слушатели извлекли об'ективное, толкающее на критическое мышление, содержание, безотносительно к тому, от кого и при каких условиях им приходилось воспринимать его. *Я избегала личного* влияния. И так как в течение своей долголетней агитации мне пришлось убедиться, что мои выступления на митингах и рефератах оставляли след в памяти слушателей, вплоть до деталей, до голоса, то я не хотела, чтобы вызываемая моими выступлениями ассоциация идей отражалась на степени самостоятельности подхода к вопросам, в особенности, когда речь шла о вопросах, в которых я была фракционно заинтересована. Когда в 1912 году победило течение итальянского социализма, к которому я всегда принадлежала,—ортодоксально революционное,—это приписывалось отчасти и моему влиянию, но из многочисленных делегатов, с'ехавшихся на конгресс, ни один, кажется, не мог бы сказать, где и когда я проводила определенную резолюцию.

Да простят мне будущие читатели это и быть может еще и другие аналогичные отвлечения от темы. Они являются необходимыми дополнениями моих воспоминаний, необходимым условием искренности и цельности восстановления прошлого.

В то время, о котором идет речь, оставалось все меньше сомнения в том, что и Италия будет вовлечена в войну. Ц. К. партии, „Аванти“, парламентская фракция подчеркивали свое отрицательное отношение, предупреждали пролетариат и народ от опасности дать себя вовлечь в империалистическую авантюру. Атмосфера внутри страны становилась все мрачнее, все густела от демагогии, тенденциозных известий, тревожных слухов, от лжи, клеветы, шпиономании. Нервность

страны, каждого политического деятеля в частности достигала высшей степени напряжения. Я вместе с Р. Гриммом, подталкиваемая русскими товарищами и товарищами из оппозиции других стран, работала над созданием того, что впоследствии приняло характер и имя Циммервальдского движения. Мне в Италию приходилось ездить все реже, каждый приезд был связан с новой кампанией против партии. Как раз это время было выбрано ветеранами швейцарской социал-демократической партии для поднесения нам „сюрприза", который заполнил собой на довольно долгое время столбцы союзнической прессы под сенсационными заглавиями: „Дело Грейлиха", „Подкуп итальянских социалистов".

В настоящее время вряд-ли кто-нибудь из большой публики еще помнит об этом „деле", я же остановлюсь на нем и потому, что в нем отражается психологическая обстановка того времени, и потому, что оно является типичным для мелкобуржуазных, индивидуалистических попыток швейцарских социалистов „келейным" путем разрешать конфликт мирового империализма. Характерно, что ни один только Грейлих подвизался на этой почве,—то, что с его стороны вылилось в маленьком масштабе, через некоторое время, в гораздо еще более трагической обстановке, толкнуло другого его земляка—Р. Гримма, на попытку трагикомического характера, принесшую громадный вред Циммервальдскому движению, сделавшую невозможным участие в нем—да и вообще в революционном движении,—очень способного, незаурядного, в высшей степени энергичного и работоспособного Р. Гримма, бывшего одно время душой, руководителем Циммервальдского движения.

Однажды в Берне, возвращаясь в Рабочий Дом, где мы все жили и где останавливались приезжавшие на парламентскую сессию швейцарские соц.-дем. депутаты, я узнала, что меня ищет Грейлих по какому-то экстренному делу.

— Вчера,—сказал он,—у меня был человек, желающий вам помочь“.

— Помочь? – перебила я его с удивлением и протестом.

— Ну, да, помочь вашей партии. На случай выступления против войны...

— Как вам может прийти это в голову? Какая посторонняя помощь нужна для проведения всеобщей забастовки?

— Видите ли, это симпатизирующий нам, старый мой приятель, химик, с которым я 20 лет назад встретился у Бебеля, он готов... Ведь вы едете на заседание Ц. К. в Болонью?

Нужно перенестись в тогдашнюю обстановку и в мои личные переживания, чтобы понять, какое возмущение и злобу вызвали во мне эти слова. Несмотря на то, что передо мной сидел очень старый заслуженный борец, я не сдержалась, да и не хотела сдерживаться.

— Как вы можете допустить даже одну мысль о том, что мы войдем в какие-нибудь сношения...

— Что вы, успокойтесь! Неужели бы вы отказались от миллиончика для партии, ведь она нуждается.

— Мне кажется, что вы совершенно не знаете ни того, что говорите, ни с кем говорите. И если бы не только вопрос о войне и мире, но и о самом социализме зависел от принятия одного сантима—моя партия, как один человек, можете быть уверены, дала бы такой же ответ, как и я. Советую вам предупредить вашего знакомого, что за подобное предложение его только с лестницы спустят.

— Зачем вы горячитесь? Наоборот, этот мой знакомый, химик Н.—искренний друг мира, собирается в Берн и я хотел привести его к вам.

— Я моментально уеду из Берна, если вы себе позволите знакомить его со мной.

Хотя Грейлих произвел на меня впечатление словно выжившего из ума человека, я в тот момент не считала его

способным довести до конца свой план. Что у него на это хватило упрямого лукавства, впоследствии было самым неприятным на мой взгляд моментом во всей этой глупой истории.

Через несколько недель я узнала от товарища-итальянского организатора, что Грейлих обратился и к нему с просьбой проводить его в Италию на заседание Ц. К. Товарищ этот тоже отрицательно ответил на предложение. Но Грейлих,—и в этом, повторяю, самая противная сторона всей аферы,—продолжал упорно добиваться своей цели. Со мной он больше на эту тему не заговаривал, но исподтишка, втихомолку подготовлял поездку и осуществил ее. Она кончилась тем, что как только он, попав на заседание Ц. К. в Болонье, заикнулся о цели приезда, его попросили замолчать и сейчас же уйти.

Упорство, с которым он шел к своей цели, несмотря на предупреждения и просьбы близко стоявших к делу и несших прямую ответственность, лишает его поведение наивности и необдуманности, которая, порой, служит об'яснением и оправданием даже и политических ошибок. Я уверена, что. несмотря на свой жизненный опыт и чувство превосходства над ничего не смыслящими „идеалистами“ и „доктринерами“, он сделался жертвой интриги капиталистических интересов, тем более, что химик, о котором шла речь, оказался собственником большого пивного завода в Италии и несомненно намеревался действовать не в своем только личном интересе. Известие о „предложении“ Грейлиха с быстротой молнии облетело всю прессу. Этого-то и нужно было союзническим интервентистам. Они приобрели лишний аргумент против нейтралитета Италии, лишнее доказательство того, что защищавшие его действовали в пользу Австро-Германии. Итальянской партии удалось уменьшить пыл разошедшихся во всю ее газетных обличителей. Ц. К. сам отпечатал протокол за-

седания, из которого был виден оказанный Грейлиху прием. А он, самодовольный, чувствуя свое превосходство над „непрактичными“ вождями итальянского движения, нисколько не раскаивающийся в своей феноменальной глупости, вернулся на свою патриархальную родину...

Раскаиваться он стал позже, когда и швейцарские рабочие и Циммервальдцы требовали от него неоднократного об'яснения в непозволительном поступке и выражали ему порицание и недоверие. Это порицание приняло особенно рельефный характер, когда на подготовительном заседаний Кинтальской конференции председатель заседания тов. Лаццари, поддерживаемый Серрати, мной, Гриммом и французской делегацией, потребовал исчерпывающего об'яснения у Грейлиха, который первый раз присутствовал на заседании Циммервальдского характера. Если память не изменяет мне, дело кончилось тем, что он покинул заседание...

Через некоторое время после описанного эпизода, 23-го мая 1915 г., Италия присоединилась к союзникам и живая связь, поддерживавшаяся между итальянскими социалистами и назревавшим Циммервальдским движением значительно ослабела, хотя окончательно она не прерывалась и во время войны.. Последний раз мне удалось выступить в Италии первого мая 1915 г. Об'ехав в день пролетарского праздника три крупных центра оружейно-строительной промышленности—Сан-Джиовани Вальдарно и ближайшие два города, я второго мая выступила еще и в Кортоне и больше в Италию не возвращалась.

## Первое об'единенное выступление революционных противников войны.

### I Циммервальдская конференция 5—12 сентября 1915 года.

Первый оформленный интернациональный с'езд революционных противников войны, т.-е. социалистов и представителей профессиональнаго движения, оставшихся верными идеалу Интернационала и не переставших верить в то, что только революционная классовая борьба может положить конец войне, имел место в Циммервальде (деревушка Бернского кантона) в сентябре 1915 г. Эта конференция перешла в историю под названием Первой Циммервальдской Конференции, за ней в конце апреля 1916 г. последовала в деревне Кинтале, тоже Бернского кантона, вторая, и в Стокгольме, в сентябре 1918 года, третья и последняя Циммервальдская Конференция. Платформа, резолюции, воззвания, выступления Циммервальдцев на и после обеих первых конференций предались столь широкой гласности, так разносторонне комментировались, в особенности в русской социалистической среде, что я исхожу из того, что они хорошо известны читающей публике и, как обыкновенно, отмечаю лишь некоторые психологические черточки. Созыв этой конференции был решен, вернее сделался настоятельнейшей необходимостью, после того, как попытки созвать оффициальный орган Интернационала— брюссельское бюро его оказалось тщетным. На Луганской конфе-

ренции было решено принять все меры к созыву его, для чего итальянской партией был делегирован в Париж и Лондон депутат Моргари, натолкнувшийся на безапелляционный отказ председателя бюро Вандервельде сделать какие-нибудь шаги в этом направлении до победы союзников. Параллельно с мерами, принимавшимися партиями, участвовавшими на Луганской конференции для созыва Интернационала, другие партии, исходя из несовсем аналогичных теоретических и практических соображений, добивались возможности обмена мнениями между представителями партий, примыкавших ко второму Интернационалу. Первые шаги в этом направлении были сделаны членом голландской с.-д. партии Трульстра; однако, его старания привели лишь к тому, что исполнительное бюро II Интернационала из Брюсселя было перенесено в Гаагу. Почти одновременно американские социалисты предложили созвать интернациональный с'езд в Вашингтоне, предлагая даже взять на себя все расходы. Этот проект тоже ни к чему не привел. Тщетность попыток созвать *интернациональный* с'езд привел к тому, что в Дании была созвана конференция с.-д. нейтральных стран, в Лондоне—конференция социалистов союзнических стран, а в Вене—конференция австро-германских с.-д. На последнем заседании Ц. К. итальянской партии до вступления Италии в войну, т.-е. 15-го мая 1915 г., Ц. К. решил, в виду отрицательного отношения членов бюро к созыву его, взять на себя инициативу созыва интернациональной конференции социалистов воюющих и нейтральных стран. В начале июля имело место в Берне совещание между представителями итальянской и швейцарской соц. партии, на котором и решено было созвать вышеназванную конференцию на основании выработанных Ц. К. итальянской партии программы; приглашены были партии и профессиональные союзы или группы таковых, стоявшие на точке зрения революционной классовой борьбы, не вступив-

ших в перемирие с буржуазией, считавшими недопустимым голосовать военные кредиты.

На Циммервальдской конференции приняли участие делегаты немецкой оппозиции (тогда еще не выделившейся из партии) Ледебур, Гофман и Фогтгер, а также, насколько помнится, и Берта Тальгеймер, и тогдашний редактор „Форвертса" Эрнст Мейер. Либкнехт приехать не мог и прислал выработанные им тезисы. Из Франции присутствовали секретарь металлистов синдикалист Мэргейм и секретарь союза бочаров, гэдист Бурдерон, основатель пользовавшегося во время войны довольно большой известностью комитета восстановления интернациональных сношений; из Италии в конференции участвовали представители итальянской соц. партии и ее парламентской фракции, в частности секретарь партии Лаццари, редактор „Аванти" Серрати, депутат Моргари, Модильяни, Россия была представлена делегатами Ц. К. Р.-С. Д. Р. П. В. И. Лениным и Зиновьевым, О. К. Р.-С. Д. Р. П. П. Б. Аксельродом и Ю. О. Мартовым, и делегат С.-Р. интернационалистов Бобров, Натансон, от группы „Наше Слово" Л. Д. Троцкий, польские партии были представлены Варским, Лапинским, Радеком, румынская партия—Х. Р. Раковским, болгарская — В. Коларовым, Голландия — Генриэтой Р. Гольст; от швейцарской партии, не примкнувшей еще в то время к партиям меньшинства, — присутствовали тов. Гримм и Нэн. Когда мы собрались в Циммервальд, меня поразило одно обстоятельство: приехавшие туда некоторые французские и немецкие делегаты (Мергейм и Бурдерон, Гофман и Ледебур) уже приготовили декларацию, получившую впоследствии имя франко-немецкой декларации, в которой известным образом заключался гвоздь первого интернационального с'езда после развала Интернационала. Это поразившее меня обстоятельство опять-таки показалось мне символическим, потому что я по опыту знала, как трудно и

долго приходилось спеваться представителям различных стран, вдобавок не владеющим языком другой страны, когда речь шла и о гораздо менее важном, менее ответственном. Обыкновенно много времени и усилий уходит на сглаживание местно-индивидуального, от которого делегатам различных стран так трудно бывает отказаться. Сознание необходимости, важности, неотложности декларации очевидно настолько преисполняло представителей немецкого и французского меньшинств, что им удалось превозмочь все затруднения и представить конференции декларации, которые, насколько помнится, не подвергались серьезным поправкам даже и в пленуме. И не переживавшим настроения тогдашнего времени легко себе представить, что означало тогда солидарное выступление против войны, изобличение ее хищнического характера со стороны представителей Франции и Германии. Если центр тяжести всего Циммервальдского течения по всем понятным причинам лежал главным образом в его агитационном значении, в его пропагандистском влиянии, то упомянутая декларация являлась одним из наиболее важных факторов значения и влияния Циммервальдского течения, благодаря которому оно сразу завоевало себе исторический престиж.

В сентябре 1915 года скромное Циммервальдское заседание сделало то, на что в гораздо более благоприятных условиях не был способным, не хотел быть способным Исполнительный Комитет громадного многочисленного Интернационала—подтвердить перед всем миром солидарность трудящихся классов, их революционность, отмежеваться от какой бы то ни было идеалогической солидарности с правительством, с господствующими классами, с их антипролетарским искусственным, шовинистическим дурманом. На мой взгляд главная ни с чем несравнимая вина, политическое и моральное преступление руководителей II Интернационала заключается именно в том, что они не сочли нужным этого сделать. И не

потому, конечно, что, сделав это, Интернационал мог бы помешать войне,—я этого не думаю. Для меня центр тяжести вины Интернационала лежит опять-таки в его громадном неизгладимом преступлении перед массами, перед бессчетным количеством безимянных, индифферентных, бессознательных пролетариев, в которых как раз война зародила понимание общности пролетарских интересов, идентичности пролетарской участи социальной войны, причин и логических последствий ее. Интернационал имел возможность вначале войны раздуть зажигавшиеся искры социального негодования, он имел возможность превратить инстинкт разбросанных по траншеям всего мира пролетариев в классовое сознание. Он сделал не это, а совершенно обратное. Солидаризуясь с правительством, Интернационал и большинство социал-демократических партий, напротив, убили в пролетариях веру в социализм, в братство трудящихся классов. Этим II Интернационал не только лишил себя всякого престижа, но даже вычеркнул, и на всегда, все числившиеся за ним и уже внесенные в историю заслуги. Это его преступление перед массами не поддается учету, и на фоне этого преступления бледнеет даже нанесенный им партиям, профессиональным организациям, и целому поколению борцов, смертельный удар. Политические партии встряхнулись — отколовшиеся их меньшинства вернулись к работе. В реабилитации социализма сознательные рабочие, целые профессиональные союзы скоро оправились от шовинистического яда, нашли опору в своих единомышленниках, своем миросозерцании, но какова участь тех, кто собственно и был главным поставщиком пушечного мяса, бессознательных рабочих и крестьян? Для успеха войны—в особенности европейской войны—империалисты нуждались главным образом в трех элементах, в пушечном мясе, в неиссякаемом количестве смертоносных орудий и last not least—в покорности масс, в их активной или даже пассивной

солидарности. Что Интернационал помогал господствующим классам добиться третьего, главного условия ведения войны, это является несмываемым позором нашего поколения.

Что Циммервальду удалось восстановить престиж идеи Интернационала, является крупнейшей его заслугой. Ее не уменьшит и то обстоятельство, что более крупные события отвлекли от него впоследствии внимание современников.

Эти заслуги, как бы скромна ни была конкретная форма, в которой они проявились, становятся более рельефными при принятии во внимание всех затруднений, с которыми пришлось бороться. Общий пессимизм, недоверие масс, недостаток сношений с воюющими странами, цензура, преследования правительства, бешенные нападки прессы, враждебное отношение большинства социалистических партий, бойкот со стороны всех почти органов социалистических партий, заговор всего общественного мнения, увы, не только буржуазного, против всякого начинания революционного интернационального характера. Трудность создавшегося положения, естественно, отразились и на составе конференции (английские делегаты совсем не могли на нее явиться, а германская и французская оппозиция смогли послать всего по 2 делегата) и на ходе ее. Один момент ее, особенно врезавшийся мне в память, озарил общую трагедию особенно ярким светом.

После принятия упомянутой декларации, конференция перешла к главной цели ее, к составлению манифеста, который должен был удовлетворить самым разнообразным требованиям: об'явить пролетариату о создании революционного ядра, вокруг которого должны были сорганизоваться международные социалистические враги войны, дать почувствовать власть имущим, что против них растет новая сила, выразить платформу, тактику, цели и все это в новой революционной форме организации, соответствующей царившим в большинстве стран военному положению. Речь шла о крайне важном доку-

менте, ответственность за каждый оттенок которого падала не только на его редакторов, но и на всех тех, кто подписывал его от своего имени и от имени представляемых организаций, брал на себя обязанность распространять и отстаивать его в воюющих странах. Трудность заключалась в том, чтобы найти общий знаменатель всех выраженных на конференции сил и течений для того, чтобы манифест мог быть действительно интернациональным... После продолжительной работы комиссии, в которой, между прочим, участвовали тов. Раковский, Троцкий, Модильяни, Гримм, и после обсуждения пленумом, воззвание было одобрено. Оставалось только прочитать текст на различных языках и заручиться личным согласием всех присутствующих на принятие именно этого текста. Сама обстановка с'езда, физическое и психическое напряжение всех участников, мрачный, накуренный, маленький, банальный зал швейцарского деревенского дома, охрипшие голоса, признаки усталости конгрессистов, необходимость кое-кому из них уехать—все это создавало тревогу и нервность... Все чувствовали, однако, что дело идет о завершении всего того, что говорилось в течение долгих месяцев; над оформлением чего просидели целую неделю. От распространения манифеста все ждали пробуждения интернационализма в массах...

Гримм прочитал тщательно обработанный текст по-немецки, кто-то другой по-французски. Началась перекличка всех присутствующих, все без исключения из'явили свое присоединение к воззванию кратким „да". Сама перекличка, в виду общего согласия, являлась формальностью. Вдруг со скамейки, на которой сидела итальянская делегация раздалось: „я не могу подписаться под этим текстом". Произносивший эти слова был никто иной, как товарищ О. Моргари, с первого дня войны боровшийся за восстановление Интернационала.

Его отказ поверг в неописуемый ужас всех присутствующих, вызвал удивление у всех кроме итальянской делегации,

близко знавшей тов. Моргари. Ужас заключался в уже указанном по поводу предыдущих интернациональных совещаний: крайняя необходимость единодушного выступления делегаций всех стран, без которого невозможно было ожидать ни малейшего успеха движения, ни восстановления Интернационала. И если на женской и юношеской конференциях теоретически полемические разногласия большевиков могли угрожать успеху созванных интернациональных совещаний, то насколько глубже и опаснее были разногласия, обнаружившиеся на первой Циммервальдской конференции. В первых двух случаях, несмотря на тенденциозные толкования прессы, все-таки можно было надеяться, что рано или поздно, по крайней мере, наиболее разбирающиеся в социалистических течениях элементы поймут, что дело не в разногласиях национального характера, а в теоретических. В последнем же случае дело шло о том, что один из наиболее активных членов созванной интернациональной конференции, член партии, всеми силами боровшейся против социал-патриотизма, отказывался от солидарности с теми, кто изобличал империалистический характер войны.

Моргари был всегда и до того, как сделался ответственным социалистом, интернационалистом на практике. Стоило кому-нибудь, даже в личной беседе, отдать предпочтение какому-нибудь народу или, наоборот, умаляюще выразиться по поводу другого, как это вызывало в нем самое сильное негодование. Никто так строго не относился к итальянскому народу, как он; никто так не возмущался „патриотическим“ бесчинством итальянского милитаризма в Триполи, как он, в парламенте, на собраниях, в прессе. Никто так страстно не пытался созвать Интернационал, как он, никто так не возмущался патриотическим пристрастием приверженцев одной или другой коалиции. Но как это не звучит пародоксально—именно это его отношение к патриотическим пристрастиям вызвало

его отрицательный ответ. Отличительной в этот знаменательный вечер чертой Моргари является стремление к беспристрастию, к справедливости по отношению к людям, к теориям, к событиям. Очень любознательный, об'ездив несколько частей света в поисках за непосредственным наблюдением природы, людей, причинности явлений, много читавший, он не причисляет себя к последователям той или иной теории. Опыт, исторические исследования сделали из него марксиста, но считать себя таковым он не хочет из боязни быть односторонним, не отдать должного другим мироистолкованиям. Он неоднократно убеждался в том, что основным поводом войны было экономическое соревнование буржуазии и отстаивал эту уверенность против большинства инакомыслящих, но когда это же мнение в более абсолютной форме было выражено единогласно коллективом, он запротестовал во имя того небольшого количества защитников или участников войны, которые верили в ее демократические или национальные идеалы и сражались за них. Такой подход к вопросу покажется русским товарищам невероятным, наивным, но в нем, и только в нем причина того, что чуть ли не вызвало катастрофу начинающегося Циммервальдского движения.

Несколько делегатов, в том числе Модильяни, Раковский, Лаццари и пишущая эти строки, обратились с увещевательной просьбой к Моргари, указывая на совершаемую им ошибку, могущую оказаться роковой для всего движения. Когда Моргари поддался доводам и об'явил, что присоединяется к резолюции, у всех вырвался вздох облегчения, выражение благодарности, а Модильяни обнял своего соотечественника в порыве благодарности.

Большое впечатление произвела на этом знаменательном собрании речь французского Циммервальдца Мергейма. В ответ на колебания Моргари, Мергейм произнес дельную и вместе с тем страстную речь. Он изобличал совершенные

французским империализмом преступления, указал на ответственность французского правительства, говорил о важности для спасения пролетариата коллективно-единодушного выступления всех делегаций. Вообще Мергейм произвел на меня, по крайней мере, впечатление человека серьезного, добросовестного, умеющего подчинить свое я интересам масс. Мне казалось, что он принадлежит к числу тех, кого связанные с войной переживания сделали более глубокими, более благородными, более серьезными. В нем не было ничего того, что делает синдикалистов столь неприятными: ни мелкобуржуазного, эгоцентричного подхода к вопросам и к людям, ни бесплодной критики, ни вульгарных нападок на „политику", на „вождей". Его речь произвела большое впечатление на присутствовавших и явилась по всей вероятности решающей для Моргари. Читая теперешние статьи и выступления Мергейма, с трудом верится, что дело идет о Мергейме-Циммервальдце, о Циммервальдце-Мергейме.

По возвращении в Берн по окончании конференции были приняты кое-какие решения организационно-практического характера и выбран исполнительный комитет, в который вошли Гримм, депутат французской Швейцарии, известный по своей борьбе против милитаризма, Нэн, упомянутый Моргари и Анжелика Балабанова. Нэн и Моргари должны были только наезжать на заседания, постоянная же работа и руководство движением выпало на долю других двух членов.

Гримм с самого начала до своего наивного дипломатического шага в Петербурге проявлял необыкновенную энергию, массу инициативы, разносторонность подхода к вопросам, умение примирить теорию с практикой, с большой быстротой придать безукоризненную форму сложному содержанию, найти выход из трудности нелишенному противоречий и разногласий положения, и, главное, редкую, страстную любовь к труду и большую решительность в действиях. Эксцесс неко-

торых из его положительных качеств, увеличивших его самоуверенность и неудержимость приводить в исполнение всякое решение и послужило, на мой взгляд, психологической причиной его непростительного выступления в бытность его в России. У него по-истине „количество перешло в качество“, несдержимая энергия, порыв и обыкновение, об’ясняющиеся маленьким масштабом швейцарских политических и в частности социалистических условий—действовать немедленно, очень часто на свой собственный риск и привычка оправдывать ее ретроспективно успешностью результата, делающих увы!—так часто из врагов определенного метода приверженцев его результатов, все это толкнуло Гримма в пропасть и сразу убило его престиж, уменьшило его заслуги, даже совершенно изгладило их из памяти и его современников. Говоря о первом, решающем периоде Циммервальдского движения, нельзя не подчеркнуть выдающейся роли Гримма, его больших организаторских способностей, его политического чутья, оказавших громадную услугу нарождавшемуся при столь тяжелых и трудных условиях международному социалистическому движению против войны.

---

## От Циммервальда до Кинталя.

Служа центром об'единения революционных-социалистических и синдикальных противников войны, Циммервальдское движение по своему существу выражало не столько позитивную программу, сколько негативное отношение к определенному явлению. Это относится в большей мере, конечно, к начальному периоду его существования, чем к последующему. Вот почему большая часть достигнутого Циммервальдским движением успеха относится к области психологической, а потому даже при самом добросовестном изучении всех документов и выступлений точному учету и регистрации не поддается. Несмотря на скромность достигнутых им конкретных результатов, Циммервальдское движение имело большое влияние: своим возникновением, своим освещением различных фаз войны, своим протестом против занятой Интернационалом, отдельными его партиями и членами партий позиций, оно указывало на то, каким пролетарский Интернационал *не мог и не должен быть*, отмежевывал идею Интернационала от его искажения. Затем, с течением времени мало-по-малу, наряду с обоснованием и распространением отрицательного отношения к войне, наряду с изобличением ее характера и предсказанием ее неминуемых роковых последствий, Циммервальдцы начали вырабатывать программу положительную: способ борьбы против войны, способ восстановления Интернационала. Будучи по своему составу оппозиционным, выросшим на почве отрицания, критики, империалистических вожделений — с одной стороны, а с другой — патриотического

примиренческого вырождения рабочего движения, Циммервальдское движение во всех конкретных случаях развивалось, как мы уже видели, от чисто отрицательного к положительному. Такова была, между прочим, и психологическая грань между 1-ой и 2-ой Циммервальдскими конференциями. На первой центр тяжести лежал в том, чтобы отмежевать революционный социализм, классовое пролетарское движение от хищнических вожделений империализма и от псевдосоциалистического отклонения рабочего движения в сторону классового перемирия. Центр тяжести первой Циммервальдской конференции лежал, как мы уже видели, во франко-немецкой декларации, заявлявшей от имени немецкого и французского сознательного рабочего движения, что война империалистическая *не пролетарская война*. Эта декларация являлась опровержением того, что буржуазия об'явила аксиомой, к которой к позору международного социализма присоединились и многие оффициальные представители его. Аксиома эта заключалась в провозглашении непримиримости интересов обоих народов, в необходимости защищать прошлое, настоящее и будущее страны против ее внешнего „векового", „непримиримого врага". А декларация представителей революционного пролетариата обеих стран доказывала ложность, тенденциозность, губительность распространения такой точки зрения и противоставляла ей материалистическое истолкование войны, общность интересов пролетариев всех стран. Эта-же мысль легла и в основу манифеста первой Циммервальдской конференции, подписанного представителями всех партий, имевших возможность прислать делегатов в Циммервальд.

Кинталь, естественно, должен был итти дальше Циммервальда, подобно тому, как за время, отделявшее первую конференцию от второй, разрушительная оргия войны достигла громадных, непредвиденных размеров. На Кинтальской конференции присутствовало слишком сорок делегатов (добрая

треть собиравшихся на конференцию делегатов не могла приехать из-за неимения паспортов и из-за других технических и полицейских препятствий), тем не менее на ней присутствовали представители 3-х немецких организаций и групп (м. пр. Гофман, Флейспер, Берта Тальгеймер, Фрӧлих, Борхарт), три французских депутата Бразон, Блан и Рафэн Дюжан, окрещенные за свой приезд в Кинталь Кинтальскими паломниками; восемь делегатов из Италии, м. пр., Музари, Ирамномени, Модильяни, Дугоки, Лаццари, Серрати, Моргари, и пишущая эти строки. В противоположность Циммервальдской конференции, на Кинтальской была представлена оффициально и швейцарския партия, в лице пяти делегатов: Гримма, редактора цюрихского „Фольксрехт'а" Нобса, секретаря партии Нобса, члена Ц. К. партии Агнесы Робман, депутатов романской Швейцарии Нэна и Гробера, от разных течений польского социализма нрисутствовало 5 делегатов, от Р. С.-Д. Р. П. (Ц. К. и О. К.) и от латышской с.-д. 8 делегатов, Сербия была представлена членом скупщины Кацлеровичем; из Англии неимевшие возможности добиться паспорта для своих представителей, английские партии,—*Независимая Рабочая* и *Британская* Социалистическая письменно из'явили свою солидарность с созывавшейся конференцией и ее эвентуальными решениями. Ко времени Кинтальской конференции в социал-партиотических и буржуазных, в парламентских, пацифистских и филантропических кругах разных стран, по разным поводам, начинали говорить о необходимости приблизить момент заключения мира. Циммервальдскому об'единению, как единственному интернациональному революционному органу, естественно, надлежало отмежеваться от всех других течений, обратить внимание сторонников, да и пролетариата вообще на тщетность, несерьезность и неискренность стремлений разрешить мировой империалистический конфликт путем паллиативов: мирных конференций, разоружения и т. п.

По мере того, как Циммервальдцы, следуя закону доказательства от противного, подвергали критике все комбинации буржуазного и мелкобуржуазного характера, они противоставляли им свою классовую, революционную точку зрения. Обсуждению средств борьбы с войной была посвящена первая часть Кинтальской конференции; вторая подошла вплоть тем же путем доказательства от противного—к созыву бюро Интернационала. Те самые события, которые толкали общественное мнение, выражавшееся в различного рода гуманитарных и пацифистских организациях, заговорить о мире, те же самые события толкали еще считавшие себя социалистическими партии воюющих и нейтральных стран заговорить о необходимости созыва бюро II Интернационала. Циммервальду надлежало выработать условия, на которых революционным партиям и меньшинствам партий, отмежевавшимся от II Интернационала после того как попытки созвать, в свое время, бюро Интернационала оказались тщетными и примкнувшим к Циммервальду было возможно и целесообразно принять участие в заседании бюро. Кроме того, Кинтальской конференции надлежало решить весьма важный вопрос о голосований кредитов в парламентах воюющих стран. С этой точки зрения Кинтальская конференция была важнее по своим последствиям самой Циммервальдской. Она подготовлялась событиями, с одной стороны, агитационными и организационными мерами Циммервальдской комиссии—с другой. Редактировавшаяся Гриммом „Бернер Тагвахт“ и главным образом бюллетени Комиссии являлись печатным звеном, соединявшим разбросанных по разным странам сторонников Циммервальдского движения. Комиссия собиралась часто, и очень скоро, если не ошибаюсь, по предложению Гримма, расширила свой состав. По поводу особенно важных решений созывались так-называемые расширенные Комиссии, на которые каждая организация имела право делегировать двух представителей.

Состав этих делегаций был довольно случайный и зависел от возможности приезда в Швейцарию из воюющих стран; и только русские делегации, состоявшие из живших в Швейцарии эмигрантов, имели постоянный характер. В виду этого обстоятельства, в виду политического и морального престижа, которым пользовались русские делегаты, в виду их численного превосходства, они пользовались большим влиянием, являлись и личными советниками членов комиссии. Особенно много инициативы и рвения проявили и вне оффициальных заседаний Натансон, Мартов, Лапинский, Радек. Трудно представить себе более дисциплинированного, добросовестного, чуть ли не педантичного в исполнении своих даже мельчайших партийных обязанностей работника, чем Марк Андреевич Натансон. Таким он был при представлении докладов или резолюций своей партии, при внесении денежных взносов в Циммервальдскую Комиссию, таким он был в личных отношениях со всеми сотрудниками по интернациональному движению. Помню, как он, будучи уже больным и глубоким стариком, первым приходил на все заседания даже второстепенной важности, как он никогда ничего не забывал, как он в свободной стране, по отношению даже к легальным решениям, применял ту самую конспиративную выдержанность, которая выработалась в нем десятилетиями работы при совершенно других условиях. Марк Андреевич был воплощением точности, аккуратности, добросовестности. Порой он мне казался даже несколько наивным и взор и мысль отдыхали на нем, на юношеской порывистости, с которой он брался за исполнение всякой партийной работы. Подчас казалось, что чувство дисциплины, привычки немедленно, беспрекословно переходить от слова к делу, от партийного постановления к личному исполнению словно лишали его желания, возможности или, если можно так выразиться, суб'ективного права задумываться над решением по существу. Конечно, уже одно то,

что он среди марксистов, составлявших громадное большинство циммервальдцев, являлся порой единственным представителем меньшинства, заставляло его быть настороже, следить за тем, чтобы предлагаемые резолюции и т. п. не шли в разрез с подходом к данному вопросу с.-р., но как только у него было достаточно гарантий на этот счет, он делался самым точным исполнителем практических решений. В этом отношении Циммервальдская Комиссия была многим обязана Марку Андреевичу, с которым она находилась в постоянном контакте.

Совсем другого рода обаянием и влиянием пользовались Ю. О. Мартов и П. Л. Лапинский. Оба выдающиеся, интеллектуальные, критические и, в то же время, творческие натуры, они вносили в оффициальные работы комиссии, в плодотворные частные беседы совершенно другого рода, не поддающийся внешнему учету, вклад. Они углубляли или, если можно так выразиться, осложняли подход и решение многих вопросов, опускаясь в гущу теоретических предпосылок, поднимая их над уровнем повседневных, чисто-конкретных интересов, освещая их полемически. Такими же интересными, живыми являлись деловые и личные беседы, которых с Ю. О. у меня было не мало. Я часто подолгу слушала его воспоминания, рассуждения на темы, порой не имевших прямого касательства к вопросам, подлежавшим непосредственному решению, не ища этих решений в данный момент, даже будучи уверенной, что я отклоняюсь от них, из-за одного только интеллектуального интереса. В другом смысле интересным собеседником являлся Радек, в особенности, когда он заговаривал о литературных вопросах, делился своими переживаниями, непосредственными впечатлениями. Чрезвычайно любопытно бывало следить за его психологической подвижностью, эластичностью, экспансивностью. Забавен контраст между тем, каким себе представляют Радека, и его

настоящим обликом. Непримиримый фанатик „доктринер“ и т. д., на самом деле поддается впечатлениям, влияниям, порой даже сам должно быть не замечая резкого, быстрого перехода от одной точки зрения к другой в вопросах политических и фракционных, общих и частных.

Влияние П. Б. Аксельрода и в особенности В. И. Ленина на внутреннее развитие Циммервальдского движения было скорее косвенного характера, оно проводилось главным образом через их фракционных сторонников. Лично же они принимали участие лишь в конференциях и особенно важных совещаниях.

Влияние русской революционной эмиграции на внутреннюю жизнь Циммервальда было значительно, и фракционные разногласия, разделявшие русское соц.-демократическое движение, естественно переносились и туда. Порой это достигало поистине трагических размеров еще и потому, что не-русские делегаты не всегда понимали центр тяжести дискуссий, полемики. Они с большой нервностью реагировали на них и принимали важные теоретические разногласия за фракционные и, наоборот, в особенности, когда полемика принимала затяжной характер и, казалось, отвлекала от конкретных решений. В таких случаях у не-русских делегатов сперва во взгляде и жестах, а затем уже и в восклицаниях вырывалось нетерпение, постепенно переходившее в злобу и досаду и неминуемо вело к противоставлению тех, на ком лежит ответственность широкой, разносторонней работы и тех, кто только говорит и спорит. Некоторые из делегатов—более интеллектуальные, как Роланд Гольдст и кое-кто из немецких спартаковцев и независимцев,—с большим интересом вслушивались в полемические речи русских марксистов. Однако, отношение к представителям русского движения, к самым их фракционным выступлениям было среди Циммервальдцев совершенно иное, чем во II Интернационале. Это об'ясняется отчасти и

самым поводом возникновения Циммервальдского движения. В возникшем на развалинах Интернационала, обанкротившегося в вопросе о войне, циммервальдском течении, естественно, наибольшим престижем пользовались партии, которые, как русская и итальянская, оставались верны Интернационалу не только в национальной партийной тактике, но и не переставали стремиться к возобновлению сношений между рабочими и социалистическими массами всех стран, результатом чего и являлось восстановление международных сношений пролетариата в скромном масштабе Циммервальдских совещаний и выступлений. Кроме того, это движение, проникнутое духом оппозиции по отношению к собственным партиям, выношенное сознанием несостоятельности, банкротства этих партий, не могло носить характера того самодовольного превосходства, которое нередко выражалось в тоне и словах представителей массовых легальных партий II Интернационала. Влияние или, вернее, перевес русских участников Циммервальдского движения проявлялся главным образом в совещаниях подготовительного характера, чем на больших. Таких подготовительных совещаний расширенной Циммервальдской комиссии, интерпарламентарских совещаний и собеседований Циммервальдцев разных стран и т. п. созывалось нами не мало, но большинство из них не достигало цели из-за неполноты состава: приезд заграницу циммервальдцев все больше и больше затруднялся герметическим закупориванием границ, чудовищной цензурой и, как это ни странно, абсолютным неумением западно-европейских, в частности итальянских и французских товарищей, придерживаться, не скажу уж революционной конспиративности, но даже элементарного сохранения тайны политического, партийного характера. Что касается итальянских социалистов, то у большинства из них к конспирации существовала прямо-таки неприязнь. Привыкшие к широкой легальной работе в массах и парламенте, которая

изгладила из памяти даже более старых поколений всякое психологическое воспоминание о конспирации, живя до войны в действительно, я бы даже сказала, единственной демократической стране, пользуясь в ней громадным влиянием и престижем, они словно считали умалением партийного и собственного достоинства держание чего бы то ни было в тайне.

Несмотря на громадные стачки, принимавшие особенно среди крестьянских трудовых масс, весьма бурный, революционный характер, несмотря на захватившее широчайшие массы революционное миросозерцание, несмотря на резкий протест, которым была проникнута вся жизнь итальянской социалистической партии вплоть до ее правого крыла, в итальянской политической жизни до войны не было внешних проявлений глубокого классового антагонизма. Буржуазия почувствовала себя мощным классом и, отчасти, сделалась таковым лишь во время и после войны, а потому отношения в стране были более или менее патриархальными, лишь на время спорадически нарушаемые кровавыми столкновениями между протестовавшими, демонстрировавшими или бастовавшими крестьянами или рабочими и ранившими или подчас убивавшими одного или нескольких из них карабиньерами. А эти самые карабиньеры! За исключением немногих, набиравшихся из наиболее темных, ослепленных суеверием, безграмотностью, отдаленных от промышленных центров местностей Южной Италии, они все, вне сферы непосредственного влияния „начальства“, вне гнета военной дисциплины, с неподдельной, нераздельной симпатией относились к социализму. Многие из них часто признавались, что самыми интересными, счастливыми часами их жизни являлись проводимые на митингах, в течение которых приходилось слышать речи самых выдающихся ораторов социалистического движения, так как на каждом митинге было обязательно присутствие „властей“: старшего чина политической полиции и

5—15, смотря по размерам митинга и степени революционности оратора, находившихся под его командой карабиньеров. Не раз приходилось во время агитационных речей перед многочисленной публикой ловить восторженный благодарный, полный грусти и угрызения совести взгляд пролетария-карабиньера, чувствовавшего, что место его с народом, а не против него. И сколько выражений солидарности, симпатий, сколько рукопожатий, писем с обещанием при первой возможности бросить мундир и вступить в революционные ряды приходилось получать каждому из нас! Сколько таких многозначительных эпизодов просятся под перо, как только ассоциация идей отвлекает от определенного, хронологического порядка изложения. Эти эпизоды особенно врезывались в память в виду их повторения, в виду отношений, устанавливавшихся между нами и охранителями общественного порядка. Когда приходилось об'езжать целую провинцию и говорить по два-три раза в день в местностях, отдаленных от центра, один и тот же кадр карабиньеров сопровождал нас всюду. Порой он походил скорее на личную охрану, и когда находился вне надзора начальства, охотно оказывал всякого рода услуги, а иногда даже проявлял товарищескую заботливость.

Отсутствие среди итальянских товарищей навыка к конспирации отражалось естественно и на Циммервальдской работе. Иллюстрацией этого, между прочим, может служить следующий траги-комический эпизод: по поводу какого-то особенно важного вопроса назрела целесообразность созыва совещания членов парламента различных стран, примыкавших к Циммервальду. Совещание это было подготовлено особенно тщательно, приглашения на него каким-то особенным путем разосланы во все страны, приглашение итальянским депутатам я лично доверила товарищу для непосредственной передачи секретарю парламентской фракции. В день заседания,

к великому нашему удовольствию, в Бернский народный дом начал появляться целый ряд членов итальянского парламента: и Модильяни, и Трэвес, и Маффи и несколько других. Однако, скоро однородность делегации показалась мне несколько странной: все одни итальянцы. Оказалось, что один из депутатов, получив сообщение о предмете, месте и дне конференции, написал французскому социалистическому депутату, адресовав письмо в парламент. Само собою разумеется, что из Франции не мог прибыть ни один депутат, и конференция так и не состоялась. Таких примеров отсутствия конспиративного навыка в течение войны у меня набралось немало и не одни итальянские товарищи давали мне их...

В промежутке времени между 1-ой и 2-ой Циммервальдскими конференциями, Циммервальдская (или Бернская, как ее обыкновенно называли) собиралась очень часто в составе двух или трех членов (Моргари не всегда мог приезжать, Нэн тоже приезжал довольно редко) или в более или менее расширенном составе.

Несмотря на громадные затруднения, стоявшие на пути организаторов и участников Циммервальдского движения, Циммервальдская Комиссия насчитывала к моменту созыва II конференции, т.-е. полгода после созыва первой и основания самой Комиссии, — 21 примкнувшую к ней организацию, из которых 15 являлись социалистическими партиями, остальные были группы интернационалистов, отколовшихся от партий, юношеские организации, социалистические лиги. II Циммервальдской Конференции предшествовало совещание несколько иного состава, чем обычные заседания расширенной Комиссии. Длилось оно четыре дня (5—9 февраля 1916 г.) и хотя характер оно имело исключительно совещательный, и прессой не было зарегистровано, оно является главным шагом на пути развития Циммервальдского движения. На нем весьма выпукло обрисовались условия разных стран,

соотношение сил между авангардом пролетариата и остальными слоями населения, а также соотношение сил между двумя течениями, разделявшими тогда социалистическое и профессиональное движение воюющих стран. Все это обрисовалось в течение дебатов по поводу порядка дня предстоявшей II конференции, платформа которой была выработана, и работа которой была в значительной степени облегчена, сокращена предварительной работой Бернского совещания. Основой дискуссии Кинтальской Конференции послужили наброски манифеста присланной Циммервальдской Комиссии Французской Циммервальдской группой „Vîe Ouwrie“ и „Нашего Слова“ тезисы группы немецких товарищей и программа, выработанная революционной группой и Рабочей партией Голландии, подписанные Ролооц Гольдт и Винкупом. К тому времени основные идеи Циммервальда уже сделались предметом всеобщего публичного обсуждения широких слоев общественного мнения, главным образом, в виду выступлений итальянских социалистов. Хотя цензура и помешала напечатанию Циммервальдского манифеста даже на столбцах „Аванти“, Ц. К. партии предложил многочисленным муниципальным советам, находившимся в руках социалистического большинства, оффициально примкнуть к манифесту, что и было сделано большинством муниципалитетов. На громадных митингах рабочие Милана, Турина и других более или менее крупных городов приветствовали Циммервальд, видя в нем возрождение Интернационала. В парламенте депутаты Трэвес, Турати и Модильяни, Маццони, Бентини обнародовали манифест первой Циммервальдской конференции, указывая на ее основные линии, как на единственный путь для рабочего класса положить конец кровопролитной войне. Все провинциальные газеты соц. партии,—а их тогда было около двухсот, — отпечатали манифест, который распространялся при посредстве нелегальных летучих листков в многих тыся-

чах экземпляров. Следствием восторженного единодушия, с которым итальянские трудящиеся массы приняли интернационалистические лозунги Циммервальда, было то что и конференция труда, к которой примыкало тогда триста слишним тысяч городских и сельских пролетариев, целиком и безоговорочно присоединилось к Циммервальдскому движению и прислала делегата, в лице секретаря К. Т. депутата Ригола, на упомянутое подготовительное совещание II Циммервальдской Конференции. К тому времени к Циммервальдскому движению присоединилась и федерация болгарских профессиональных союзов.

Политическим, агитационными, психологическим центром Кинтальской конференции (24—30 апреля 1916 г.) являлись, за исключением обсуждения упомянутых уже пунктов, опять-таки франко-немецкие отношения. И не потому только, что в самой войне в то время решающими являлись отношения к ней Франции и Германии, но еще и потому, что главная цель конференции заключалась, как и в Циммервальде, в том, чтобы добиться единодушного выступления социалистов, оставшихся верными заветам Интернационала. На этот раз по конкретному вопросу — голосованию военных кредитов—целью Кинталя было помешать повторению 4-го августа 1914 г., того в отрицательном смысле исторического дня, когда немецкие и одновременно с ними французские депутаты, голосовав за военные кредиты, фактически об'явили классовое перемирие, национальную вне-классовую солидарность, явившуюся следствием и наиболее ярким проявлением банкротства Интернационала. Для того, чтобы избежать повторения этого, нужно было заручиться уверенностью, что Циммервальдские члены французского и германского парламента будут голосовать против кредитов и, таким образом, на ответственном и в некотором смысле решающем посту осуществят Циммервальдский лозунг, формулированный

К. Либкнехтом, который, не будучи в состоянии принять участия в Циммервальдской конференции, прислал на нее тезисы, один из которых гласил: „Интересы Интернационала должны стоять выше интересов национальных“. Кроме делегатов Франции и Германии, на конференции не было делегатов, которых нужно было бы убеждать или связывать формальным обещанием: англичан на конференции не было, а русские, итальянские и сербские социалисты и до принятия соответствующей резолюции неоднократно по существу придерживались ее. „Диалог“, от которого зависело формальное обязательство не голосовать за кредиты, должен был, таким образом, произойти между убеленным сединами Адольфом Гофманом, сохранившим в своем психическом и физическом облике черты, которые делали немецкую социал-демократию столь обаятельной в момент ее классового и идеологического расцвета, и Бризоном, членом французского парламента. Громадное усилие, которое старик Гофман делал, чтобы спасти честь, прошлое немецкого рабочего движения путем, достойным революционного меньшинства немецкой соц.-демократии, придавало его искренней, подчас наивной речи характер глубокой трагичности. В тоне его безискусственной, лишенной всякой дипломатичности, я бы даже сказала, подготовленности, речи слышалось что-то вроде покаяния в преступлении, совершенном авангардом социализма по отношению к младшим его братьям. Вся обличительная речь Гофмана была проникнута этим духом. Подобно тому, как он партию, с которой когда-то был связан всеми фибрами души, служению которой он отдал все свое существо, подвергал суду и осуждению международного пролетариата, так он перед немногочисленным судом своих товарищей обличал себя, словно беря на себя грех, ответственность за который не лежала на нем. Всеми силами хотел он добиться результата, который в глазах немецких масс должен был искупить прош-

лое, должен был приблизить конец братоубийственной бойни, восстановить веру в пролетарский Интернационал. И как бы желая предупредить колебания, сомнения в его и его фракционных друзей будущем поведении, он просто, без всякого пафоса, с почти неуловимой дрожью в голосе воскликнул: „Ведь, сыновья мои, павшие на войне, перевернулись бы в гробу, если бы я голосовал кредиты“.

Совсем другой, я бы сказала, противоположный, характер носило выступление и речь содокладчика Гофмана, французского депутата Бризона. В то время, как первый и содержанием, и формой речи, и ее интонацией, и своей поступью, и всем своим существом являлся выразителем своих долголетних избирателей — промышленного, революционного берлинского пролетариата—и все в нем носило отпечаток традиций революционной массовой партии, ее вожделений, присущего ей чувства ответственности, спаенности с мировым пролетариатом, Бризон был выразителем своих мелкокрестьянских избирателей. Его точка зрения не являлась результатом продуманного, возведенного в принцип, в миросозерцание, классового, революционного подхода ко всем вопросам, и к политическим в частности. В его подходе, я бы сказала, даже его появление среди выдержанных, воспитанных и связанных идеологической и партийной дисциплиной членов соц.-демократических делегаций было чем-то случайным. Этим я отнюдь не хочу сказать, что Бризон был неискренен, наоборот, в нем был и подлинный протест, и возмущение против империалистической бойни, и ненависть к ней, но все это казалось не столько вытекающим из миросозерцания, сколько вызванным конкретными фактами настроением, отражавшим и настроение его избирателей, которым война не сулила никаких выгод, а потому и воспринималась и истолковывалась как никому ненужное кровопускание народов. „В этой войне не может быть победителей

и побежденных, а только побежденные массы". Эта формулировка, положенная Бризоном в основу манифеста II Циммервальдской конференции, в редакции которой он принимал большое участие, являлась отражением отношения его и его избирателей к войне. Все остальное вытекало из этого основного, окрашивалось им. Воззвание второй Кинтальской конференции обращалось не только, как воззвание первой, к пролетариям вообще, а к „разоряемым" и „убиваемым" народам.

Бризон был и гвоздем Кинтальской конференции, и новичком на ней. Приехав с двумя своими единомышленниками и сочленами меньшинства французской социалистической парламентской группы — Бланом и Рафрэн Дюжаном, которые уехали из Швейцарии, не дождавшись дебатов по главному вопросу, он являлся единственным доподлинным представителем французских Циммервальдцев. Новичком он был постольку, поскольку ему, вероятно, не приходилось раньше принимать участия в интернациональных совещаниях. Не владея языком, не особенно интересуясь теоретической стороной вопросов, он с большим нетерпением выслушивал казавшиеся ему непомерно длинными речи и даже просил сокращать их в переводе.

Общее внимание и симпатию привлекал столь мужественно придерживавшийся интернационалистической точки зрения и в начале войны и впоследствии вполне от нее отошедший сербский депутат Кацлерович.

В то время, как первая Циммервальдская конференция и предшествовавшие ей интернациональные совещания (итало-швейцарская, экстраординарная женская в Берне и заседания Бернской комиссии) имели целью осуществление лозунга Штутгардского конгресса, вменявшего в обязанность Интернационалу и каждой из примыкавших к нему партий употребить все усилия на то, чтобы вызванный эвентуальной

войной экономический и политический хаос был использован в смысле скорейшего осуществления социализма, Кинтальская конференция уже прямо указывала на то, что только завоевание рабочими массами власти и уничтожением частной собственности можно положить конец войнам. „Мир будет результатом победы социализма“, — говорилось в воззвании, которое заканчивалось требованием мира немедленного, без аннексий.

Когда наступил момент обсуждения самого животрепещущего вопроса — отношение депутатов - Циммервальдцев к военным кредитам — Бризон поставил условие, чтобы дебаты были открыты речью немецкого докладчика Гофмана, на которую, наконец, Бризон решил произнести ответную речь. Она была построена по всем правилам французского парламентского искусства: рассчитанная на эффект, с соответствующими повышениями и понижениями голоса, с соответствующими интервалами, с игрой слов, с расчетом на прерывания и ловкое их парирование. В течение речи в физической и ораторской позе говорившего было нечто неприноровленное к условиям места и времени и ощущение этого, насколько мне кажется, сообщалось всем присутствующим, даже и тем из них, которые не владели французским языком. В этой речи было и несколько „сюрпризов“. Так, напр., в то время, как исходной точкой зрения обеих речей была недопустимость голосования кредитов, Бризон разделил свое заявление на две части, из которых вторая... уничтожала первую: „Мы не будем голосовать за кредиты“, сказал он, после чего наступила краткая пауза, которой конгрессисты воспользовались, чтобы выразить ему одобрение, „если наши войска“ и т. д. „Если“ ясно указывало на то, что говоривший ставит отклонение кредитов в зависимость от тех или иных стратегических условий, что вызвало громкий протест со стороны слушателей.

Не менее драматичной, чем описанная напряженная обстановка, при которой Бризон произнес свой доклад, положивший основание отказу левого социалистического крыла всех стран голосовать военные кредиты, был инцидент, закончившийся уходом Серрати не только с конференции, но и из Кинталя вообще: ночью он отправился пешком по направлению к швейцарско-итальянской границе и так уж на конференцию не возвращался. Как нередко бывает, на конгрессах, вопрос относительно второстепенный в сравнении со столь важными постановлениями о голосовании против кредитов и тщательной выработкой манифеста, имевшего громадное политическое и агитационное значение—вопрос об отношении к некоторым деталям общей проблемы завоевания мира—вопрос о том, насколько демократические лозунги постепенного разоружения, международных арбитражей и т. п. могут помешать возникновению новых войн.—Эти-то вопросы, несмотря на единодушие в исходной принципиальной точке зрения, возбуждая фракционные разногласия, оказались неразрешимыми. В то время как выбранная для редактирования соответствующей резолюции коммисия долго работала над тем, чтобы найти формулу, могущую об'единить три направления, выразившихся в трех резолюциях предложенной конференции (проекты резолюций были представлены, если не ошибаюсь, „Циммервальдской левой“ группой немецких Циммервальдцев, и от имени Циммервальдской Комиссии, Гриммом), в каждой из делегаций происходили горячие, нескончаемые дебаты по тому же поводу. Помню, что даже в итальянской делегации, которая была сплоченнее других, и представляя и массовую партию и крупную парламентскую фракцию, и профессиональные союзы, оказалось два направления—за более радикальное, резко отрицательное отношение ко всем не революционным, не классовым подходам к проблеме о мире, были три члена делегации,—не связанные

парламентским мандатом, Лаццари, Серрати и пишущая эти строки, в то время как все пять депутатов были за более осторожное разрешение вопроса „от случая до случая“, уже это отношение внутри нашей делегации крайне раздражало Серрати, когда же после затяжных дебатов комиссия об'явила, что она не в состоянии была найти приемлемую для представителей всех течений формулировку, и предложила конференции путем голосования положить конец создавшемуся положению, то раздражение и напряженность еще увеличились. Но конференцию ожидал еще сюрприз при голосовании резолюции в пленуме конференции: делегаты единогласно приняли резолюцию, предложенную Гриммом от имени Интернациональной Циммервальдской комиссии, но большинство представителей партий и течений внутри их сопровождали голосование „оговоркой“, одним она казалась черезчур реформистской, другим черезчур непримиримой. Таким образом голосование, хотя и единодушное, резолюции приобретало весьма платонический характер и сводило на нет решения, стоившие стольких усилий, для принятия которых было оторвано от своей деятельности в столь ответственное время столько работников. Эти-то обстоятельства окончательно вывели из себя Серрати, решившего по возможности скорее вернуться на работу в Италию.

Касаясь, хотя бы лишь мельком, II Циммервальдской Конференции, я хочу коснуться еще одного пункта, не имеющего по существу,—в особенности для настоящего времени,—особенного значения, но явившимся в описываемое мною время решающим для дальнейшего развития Циммервальдского движения и окончательного разрыва со II Интернационалом. Тогда же было положено основание III Циммервальдской Конференции.

Как известно, Циммервальдское движение, по крайней мере большинство его сторонников и в частности его орга-

низаторы и руководители, не видели в зарождавшейся Интернациональной Циммервальдской Комиссии организации, долженствовавшей окончательно заменить бюро II Интернационала и послужить началом к основанию Нового Интернационала. Такая ориентация назрела только лишь с течением времени, по мере того, как накоплялись факты, доказывавшие все бо́льшую и бо́льшую несостоятельность II Интернационала. В начале же, параллельно с развитием Циммервальдского движения, его же сторониками делались попытки созыва II Интернационала, которые, как мы уже видели, оказывались тщетными. II Циммервальдская Конференция должна была между прочим выработать теоретические и практические директивы для примыкавших к ней партий на случай созыва бюро II Интернационала.

Вопрос этот становился особенно актуальным и потому, что пропасть между II Интернационалом и приверженцами Циммервальда все углублялась и потому, что к тому времени вырисовалась эвентуальность созыва бюро в Гааге. Дебаты по этому поводу приняли тоже весьма оживленный характер, так как и они оживили, подчеркнули фракционные разногласия. Обнаружилось три течения: одно за безусловный бойкот бюро; вторые считали целесообразным принятие участия в заседании бюро с целью исчерпывающей критики II Интернационала; третьи считали необходимым созыв бюро и участие в нем Циммервальдцев, полагая, что, выступив на нем с критикой и порицанием „аппарата“, сумеют побудить большинство примыкавших ко II Интернационалу перейти на сторону Циммервальда. Эту бесконечно оптимистическую точку зрения развивал Модильяни... Решение, принятое конференцией, исходило из дезавуации II Интернационала, указания причин и проявления его развала и абсолютной невозможности для него справиться с стоявшими перед ним задачами и вменяли в обязанность Циммервальдской партии ответить на эвен-

туальный созыв бюро раскрытием перед массами несостоятельности II Интернационала, противоставляя его обанкротившемуся направлению цельное революционное миросозерцание и тактику приверженцев Циммервальда. Эта же резолюция вменяла в обязанность Циммервальдской комиссии созвать, в случае осуществления заседания бюро, по возможности широкое совещание представителей Циммервальдского течения—для коллективного обсуждения вопроса об участии Циммервальдцев в заседании бюро. Выступление Циммервальдцев должно было быть единодушным, отдельные партии должны были ждать коллективного решения; права решать вопрос об участии в заседании бюро они не имели.

Как раз эта часть постановлений сыграла большую роль в дальнейшем развитии Циммервальда.

Настроение конференции было напряженным и таким оно осталось до конца. Когда 30-го апреля поздно ночью, благодаря главным образом, энергии и находчивости Гримма, порядок дня все-таки был исчерпан, резолюции по всем вопросам были приняты и манифест к рабочим всех стран окончательно оформлен, большинство участников конференции было изнемождено. Я предложила уже не расходиться по комнатам, а дождаться зари первого мая... Мы встретили ее в Бернских Альпах. Она казалась нам многообещающей зарей социального освобождения трудящихся масс, зарей мира народов... Нам казалось, что совершенная в Кинтале трудная, кропотливая, нервная работа послужит искрой, от которой разгорится пламя мирового социального пожара.

Когда через несколько месяцев телеграф принес известие о том, что во французском парламенте три „кинтальские паломника“ отвергли военные кредиты, мне вспомнились все детали кинтальских заседаний и не удивило, что Бризон сдержал слово. Порывистый, не лишенный смелости, связан-

ный взятым на себя в Кинтале обязательством, он, не колеблясь, свершил шаг, который при царившем тогда особенно во Франции шовинистически-демагогическом настроении был равносилен подвигу.

---

## От Кинталя до Петербурга.

Наряду с под'емом, вызванным февральской революцией в Циммервальдской среде, перед руководителями ее немедленно встал вопрос о задачах Циммервальда в связи с громадным историческим событием. На экстренном, созванном в Берне, заседании всех находившихся в Швейцарии западноевропейских и русских Циммервальдцев было выработано горячее воззвание к трудящимся массам всего мира, главным образом воюющих стран. „Либо революция убьет войну, либо война убьет революцию", — говорило оно рабочим, призывая их к социалистической борьбе за мир,—„ибо борьба русского пролетариата против русских господствующих классов является в то же самое время борьбой против войны. Мир и республика или продолжение войны и контр-революция,—вот дилемма, решение которой зависит от мирового пролетариата". Воззвание заканчивалось указанием на то, что в ответ на революционное выступление русского народа, вся энергия мирового революционного пролетариата должна вылиться в революционное выступление. „Революционное выступление пролетариев других стран является единственной формой поддержки русской революции. Для защиты ее необходимо дружное, единодушное выступление рабочего класса других стран против войны, против империализма, за немедленное перемирие, за мир. События в России властно требуют революционной массовой борьбы за хлеб и за свободу, за мир".

Формулированный, насколько мне помнится, Ю. О. Мартовым лозунг был подхвачен и распространен далеко за пре-

делами Циммервальдских организаций. Вслед за манифестом, освещавшим русскую революцию и бросавшим упомянутый лозунг, необходимо было, не теряя времени, принять соответствующие организационные меры, дабы Циммервальд сделался центром об'единения всех социалистических и пролетарских сил, принявших лозунг, готовых осуществить его в самом широком масштабе. А так как с русской революцией и центр тяжести борьбы за мир переносился с франко-немецкого на русско-немецкий фронт, так как в России была возможность создать центр революционной борьбы за европейский мир, то и центр тяжести деятельности Бернской комиссии целесообразнее было перенести на север, с швейцарских Альп на берега Невы.

На экстренном совещании всех находившихся в Швейцарии членов комиссии было решено приблизить часть Бернской комиссии к России в надежде перенести ее современем туда. Непосредственной целью являлось вступление в более тесные сношения с пролетарской Германией, установление постоянной связи между нею и революционной Россией. Выбор членов, которые должны были взять на себя работу на севере, пал на Гримма, инициатора этого плана, и на меня, уже раньше решившую вернуться в Россию с остальными эмигрантами. Выработка плана поездки в Россию и хлопоты по приведению его в исполнение велись одновременно и для репатриации эмигрантов и для создания возможности намеченным членам комиссии, не теряя времени, взяться за работу на севере.

Помню, как однажды, поздно вечером, когда заседание Циммервальдской комиссии было уже закончено, я заглянула на собрание русских интернационалистически настроенных эмигрантов в Берне, к которым присоединились и делегаты из других эмиграционных центров Швейцарии. Открывая дверь, я услышала М. А. Натансона, говорившего: „если

нам не дадут другой возможности, поедем на аэроплане". После него Ю. О. Мартов предложил обратиться к товарищам в России, дабы они добились обмена эмигрантов на находившихся в России германских военно-пленных. Таким образом можно было бы обойти чинимые союзниками к нашему возвращению на родину препятствия.

С первых же дней стало ясно, что союзнические правительства революционеров - интернационалистов пропускать не намерены. Выражалось это, вначале в особенности, не столько в прямом отказе с приведением политического повода, сколько в затягивании, „саботаже", как говорилось впоследствии,—в фильтровке „желательных" и „нежелательных" элементов среди самих эмигрантов в зависимости от степени опасности, приписываемой каждому из них, от степени вероятия, что деятельность его в пользу заключения мира может повлиять на события и нанести ущерб союзникам. Не оставалось ничего другого, как добиваться разрешения ехать через Германию, в виду чего многие ухватились за мысль, поданную Ю. О. Мартовым, так как она лишала эту нашу попытку характера просьбы или компромисса, а придавала ей деловой характер переговоров двух правительств, оффициально обменивавшихся своими гражданами, безотносительно к политическому и личному составу возвращающихся на родину групп. Гримм взялся за ведение переговоров через швейцарских парламентариев и германского посла в Швейцарии. Так как они несколько затягивались, секретарь швейцарской соц.-демократической партии Ф. Платен, всегда очень близко стоявший к русской эмиграции и, в особенности к товарищам большевикам, с своей стороны вел переговоры, окончившиеся тем, что небольшая группа, в состав которой входили: В. И. Ленин, Н. К. Крупская, тов. Карпинский, Зиновьев, Равич, Лилина и Радек (оставшийся вначале в Стокгольме), в сопровождении Платена, отправились в Россию. Травля интернациона-

листов, дикая кампания союзнической прессы — всякого рода намеки, инсинуации, достигли уже и тогда таких размеров, что упомянутая группа эмигрантов накануне от'езда заручилась декларацией нескольких Циммервальдцев союзнических и нейтральных стран, в частности от специально вызванного французского Циммервальдца Лорье, в том, что в проезде русских эмигрантов через Германию нет ничего предосудительного и что совершалась она с ведения и согласия революционеров союзнических стран.

В промежутке времени между известием о событиях в России и своим от'ездом заграницу В. И. Ленин прочитал нам в Маленьком зале Народного дома реферат о перспективах революции. В своей небольшой, казавшейся мне логически не совсем безукоризненной речи В. И., несколько волнуясь, доказывал неизбежность дальнейшего развития революционных выступлений в расширенную Парижскую Коммуну. Реферат был принят, насколько помню, несколько холодно и скептически, настроение у говорившего и у слушавших было мрачное. Когда через несколько месяцев на финско-русской границе я впервые увидела серую толпу солдат, встретивших нас с красными знаменами, которые с каким-то религиозным чувством смотрели на нас и просили „помочь", я мысленно перенеслась в зал с его маленькой аудиторией, с тусклым светом, вспомнила слова В. И. и поняла чутьем, что мы подвигаемся к коммуне, что вне ее спасения нет, что эти исстрадавшиеся, жадно рвущиеся к свету, свободе, миру, люди ждут чего-то другого, большего, чем то, что они получили, что они ждут от нас указаний, а сами готовы отдать жизнь за их осуществление.

При первом соприкосновении с массами,—на границе с солдатскими, по приезде в Россию, в частности, в Петербурге, с рабочими и солдатскими, — я получила ясное, отчетливое, в своих деталях не поддающееся, быть может, анализу ощуще-

ние, перешедшее и убеждение, не оставлявшее меня ни разу за свое пребывание в России, сопровождающее меня и при ретроспективном обдумывании событий, их логической неизбежной связи, ощущение, что иначе быть не могло, не должно было быть.

По мере того, как события в России расширялись, нервность эмигрантов-интернационалистов росла, но вместе с ней росли и препятствия, чинимые союзниками. Требования их становились все более нелепыми; под конец они об'явили, что будут пропускать чуть-ли не по одному эмигранту в день и то только после соответствующей фильтровки. Тогда Гримм решил поехать вперед, поближе к России или в самую Россию, чтобы произвести давление на Временное Правительство в интересах скорейшего нашего возвращения. Наряду с этим конкретным поручением, он должен был, конечно, нащупать почву для усиления деятельности Цимервальдской комиссии, для возобновления сношений с мировым пролетариатом, для продолжения в большем, расширенном событиями в России, масштабе, агитации в пользу мира. Прибыв в Стокгольм, он снесся с Петербургом, пытаясь туда поехать, но ему было отказано в паспорте в виду его „неблагонадежности“,—его выдавали за германофила. Останавливаться на этом обвинении или опровергать его по существу, конечно, не имело никакого смысла—кого из нас не обвиняли в германофильстве!—Сколько сознательной лжи было в этом обвинении! Ко времени своего приезда на север, Гримм с точки зрения своей политической ориентации и проводимой тактики, и в смысле личных симпатий был интернационалистом; что же касается его прошлого, то если уж можно было его в чем-нибудь упрекнуть, с точки зрения интернационалистической, марксисткой, то скорее в франкофильстве, но отнюдь не в германофильстве. Воспитанный в духе и в традициях немецкой соц.-демократии, находившийся в годы своего политического, классового, револю-

ционного развития под влиянием и обаянием германского движения, ее литературы, живший ее чаяниями и успехами, проводивший ее тактику в партии родной страны, Гримм, естественно, очень остро переживал развал германского движения, страстно реагировал на падение вождей его.

Таким образом, он и редактируемая им „Бернер Тагвахт" очень скоро сделались центром обличения немецкой соц.-демократии; а так как Гримм о событиях в других странах был информирован в недостаточной степени и не разбирался во внутренних партийных условиях, в личном составе других, в частности французской, партий, то вначале ориентация у него была действительно односторонняя, антинемецкая, если можно так выразиться. Только с приездом в Берн других интернационалистов и, в особенности, под влиянием русской эмиграции, Гримм занял вполне нейтральную к обеим воюющим коалициям позицию. Мне приходится подробнее остановиться на этих деталях, как и на всей афере Гримма, не потерявшей и теперь еще психологического интереса и потому, что она сыграла большую роль в жизни нашей организации, и потому, что она доказывает, во что может разрастись маленький, безобидный эпизод, когда власть имущим выгодно его раздуть, и до чего может дойти коалиция интересов и прислуживающая ей пресса. С точки зрения партийной психологии, афера Гримма указывает на опасность перехода границ, соблюдение которых необходимо при принадлежности к революционной партии, основывающейся на миросозерцании, с которым несовместимо личное диктаторство, излишняя уверенность в своей правоте и „дипломатичности".

Когда мы прибыли в Стокгольм (речь идет о второй группе эмигрантов, прибывших на революционную родину в так-называемых, никогда не существовавших, запломбированных вагонах, в которой, между прочим, участвовали П. Б. Аксельрод, М. А. Натансон, А. С. Мартынов, А. В. Луначар-

ский, Ю. О. Мартов, Д. Б. и А. Л. Рязановы и всем нам известный по эмиграции тов. Тема Кимель, сделавшийся после октябрьской революции комендантом Зимнего Дворца и умерший при защите Петербурга такой-же чистой, геройской смертью, каким являлось все его пролетарское, революционное существование, Х. Г. и Ф. Я. Кон с дочерьми, Шейман и некоторые другие), мы узнали, что Гримм обзавелся там маленьким бюро и при помощи опять-таки русских и шведских товарищей издавал нечто вроде Циммервальдского бюллетеня. Он тут же созвал несколько совещаний с целью выработать план действий для Циммервальдцев, отправляющихся в Россию и для Циммервальдской Комиссии.

Для того, чтобы окончательно сговориться обо всем, Гримм захватил с собою пишущую машинку, решил ехать с нами до границы. Первые сутки езды прошли в заседаниях и совещаниях, в промежутках между которыми, обуреваемый, как всегда, страстью работы, созидания, Гримм печатал на машинке статьи, резолюции, программы. Когда во время путешествия до нас дошли слухи о вступлении Чернова, Церетелли и Скобелева в правительство, это известие, наряду с единодушным порицанием, для выражения которого каждая из фракций собралась в вагоне и вынесла соответственно мотивированную резолюцию, вызвало у некоторых особенно ярых Циммервальдцев—у М. А. Натансона и самого Гримма—надежду на то, что в'езд в Россию будет открыт и секретарю Циммервальдского течения. Ведь партии, члены которых вступили в правительство, примыкали к Циммервальдскому движению. Один из этих министров, Чернов, принимал непосредственное участие в первой Циммервальдской конференции и хорошо знал Гримма. На Чернова-то и расчитывал, главным образом, М. А. Натансон, к нему-то он раньше всего и обратился. Его старания увенчались успехом. Когда наш поезд приближался к русско-финской границе, в вагон вошли два молодых

восторженных военных и сообщили нам для передачи тут-же сидевшему Роберту Гримму, что ему под личное поручительство товарищей Скобелева и Чернова разрешается в‘езд в Россию.

---

## В России.

Прием, ожидавший нас в Петербурге на вокзале, был торжественный, но мне лично он показался холодным, несколько натянутым. Рабочие ждали нас по ту сторону вокзала и вышедшие нас встречать на перрон представители партий правительства держались как-то искусственно. Быть может, это, как и некоторые другие личные впечатления, об'ясняются обстановкой, в которой я жила в Западной Европе, в обстановке социалистической, в беспрерывном контакте с громадными массами, на митингах, манифестациях, уличных собраниях, в беспрерывной напряженной социалистической деятельности. Деланная дипломатическая речь Чернова в малолюдном зале 2-го класса словно ушатом холодной воды обдала меня и я с большим трудом заставила себя перевести речь Гримма... Он с вокзала-же поехал на заседавший тогда в Петербурге с'езд меньшевиков, где произнес появившуюся впоследствии в печати речь о Циммервальдском движении и мире. В течение следующих дней и вечеров мы с Гриммом и другими товарищами-интернационалистами часто выступали на митингах в рабочих кварталах, всюду нас встречала и провожала непосредственная, я бы сказала, по своей глубине и непоколебимости торжественная вера в Интернационал, в социализм. Гримма, как иностранца и главного деятеля Циммервальда, рабочие и работницы встречали особенно восторженно. В каком религиозном молчании, в каком приподнятом и, вместе с тем, сдержанном настроении выслушивали они длинные, монотонные речи на непонятном им языке.

И какими задушевными аплодисментами прерывали они перевод и с какой благодарностью подхватывали они всякое доказательство солидарности пролетариев других стран с мучениками презренного царизма, с героями освободительной революции. И с какой жадностью ловили они каждый намек на борьбу других народов за мир, каждый проблеск надежды на близость мира... И не звучало в этих рабочих собраниях ни иоты жалобы на перенесенные страдания, ни излишней гордости по поводу совершенной революции, а только жажда дальнейшего избавления, жажда фактического об'единения страждущих всего мира, жажда мира и свободы.

Параллельно с нашими выступлениями на митингах и с беседами Гримма с отдельными Циммервальдцами мы решили созвать совещание из находившихся в Петербурге представителей всех течений русского социалистического движения, примыкавших к Циммервальду. Совещание это имело целью лишь взаимную ориентацию, обмен мнений по поводу важнейших событий и подготовлявшейся в то время Интернациональной социалистической конференции мира. Решений это совещание принимать не могло уже по одному тому, что кроме русских партий и Интернациональной Комиссии, в ней, за исключением находившегося в Петербурге Х. Г. Раковского, никто не принимал.

Очередной задачей Циммервальда являлась в то время подготовка платформы, лозунгов, плана действий в связи с упомянутой международной конференцией мира, созывавшейся в Стокгольме. Уже раньше было постановлено, что за три дня до открытия этой конференции будет,—согласно Кинтальскому решению,—созвана Циммервальдская конференция для решения вопроса об отношении Циммервальдских партий к общесоциалистической конференции. Петербургское совещание должно было служить подготовкой к Циммервальдской конференции, в ней приняли участие представители Р. С.-Д. Р. П.

от большевиков В. И. Ленин, Зиновьев и Каменев, от меньшевиков-интернационалистов: Мартов, Мартынов, Биншток, Ларин, от Бунда — Абрамович, от С.-Р. интернационалистов М. А. Натансон, от международной с.-д. организации Д. Б. Рязанов, Л. Д. Троцкий, Урицкий, польские партии были представлены Ганецким и Лапинским, Интернациональная Бернская Комиссия—Гриммом и пишущей эти строки; остальные были за условное и ограниченное участие. В качестве гостя присутствовал Х. Г. Раковский. На совещании обнаружилось два течения: Ленин, Зиновьев, Троцкий, Рязанов, Каменев, пишущая эти строки были против всякого участия в общесоциалистической конференции, причем представители Ц. К. Р. С.-Д. Р. П. (большев.) заявили, что представляемая ими фракция выйдет из Циммервальдской организации, если она выскажется за участие в общей конференции. Те же представители Ц. К. требовали от Интернациональной Комиссии обнародования манифеста против участия членов Циммервальдских партий в буржуазных правительствах. Представители других фракций—Мартов, Мартынов, Абрамович—считали невозможным обнародование манифеста от имени всех Циммервальдцев, в виду различного, хотя и отрицательного, отношения к вопросу разных фракций. Насколько помнится, один лишь Богров был и принципиально против избрания министров-социалистов, исходя из того, что они лично, а не в качестве представителей партий, участвовали в правительстве. Ларин настаивал на необходимости агитации за немедленное перемирие. Такой же точки зрения был и Гримм. В виду уже упомянутого характера совещания, решений на нем принято не было. Однако, через несколько дней брошюра о неотложности перемирия—якоря спасения русской революции была написана Гриммом.

В виду общего темпа военных событий и все обостряввшегося внутри страны положения и настроение делалось все

более напряженным. Отношение к нам, Циммервальдцам, не только со стороны буржуазной прессы, но и со стороны правых социалистов, соглашателей и патриотов делалось все неприятнее, осторожнее, недружелюбнее. Увеличивалось с каждым днем то охлаждение, та отчужденность соотечественников, которую я почувствовала при возвращении в Петербург. Наша жизнь словно раздваивалась: вечером на митингах мы были в своей семье, днем—среди посторонних, и подчас прямо-таки недружелюбно относившихся к Циммервальдскому движению, т.-е. к революционной борьбе за мир. Мы чувствовали себя хуже, чем на чужбине.

На настроение Гримма последнее обстоятельство влияло особенно неприятно: привыкший к проявлению инициативы, к кипучей работе, он сразу почувствовал себя не в своей тарелке. В маленьком масштабе своей партии и своей страны он очень скоро освоился с ролью первого, подчас единственного проводника идей, и практического их осуществления. В последние годы своей деятельности в особенности он привык к тому, что его предложения принимались и проводились беспрекословно. В виду его умения ориентироваться, приспособляться примирять противоречия, облекать все в надлежащую форму, он постепенно отвык от того, чтобы его предложения не только отклонялись, но даже подвергались критике. Я имею в виду, главным образом, конкретные, и практические предложения. У его ближайших сотрудников уже по инерции выработалось сознание, что Гримм прав, а потому не только с политическим, но и с психологическим доверием относились ко всему почти, что от него исходило. В политике, особенно в ее практическом приложении, торжествует, естественно, та же линия „наименьшего сопротивления“, которая направляет человеческие и общественные действия. Успех почти всегда оправдывает средства, методы... Как раз во время моего сотрудничества с Гриммом в Берн-

ской комиссии мне приходилось наблюдать и задумываться над этим. Когда он предлагал мне на обсуждение какую-нибудь мысль, или развивал возникший у него план, в тоне его уже слышался оттенок решения. В большинстве случаев никаких возражений ни у меня, ни у других членов комиссии быть не могло. Но когда я из элементарного чувства демократической дисциплины указывала на необходимость спросить и остальных двух членов комиссии, он, если и соглашался на это, то тон его и замечание указывали на то, что он это считает фактической тратой времени. Таковым оно практически и оказывалось. В громадном большинстве случаев его предложения принимались комиссией без дискуссий и, если они не возбуждали фракционных разногласий, также и расширенным заседанием и пленумом Циммервальдских совещаний. Когда предложение бывало особенно удачное, указывало практический выход из затруднительного положения, то его принимали даже с более или менее сознательной благодарностью главным образом за то, что, не будучи формалистом, он ставил товарищей перед совершившимся фактом. Такое вот ретроспективное согласие и формально несвоевременно принятые решения жизнь и политика расточают в изобилии. И лишь когда метод венчается „неуспехом", сам метод подвергается порицанию, дезавуации.

Так было и с Гриммом. Приехав в Петербург, Гримм сразу понял всю политическую и социальную ситуацию. „Если мир не будет заключен в самом скором времени",—говорил он мне, когда мы с ним об'езжали различные части города,— „тут скоро будет литься пролетарская кровь"... Он часто видался с представителями господствовавших тогда партий эс-эров и меньшевиков и неоднократно беседовал с социалистическими министрами. На меня уже и тогда его свидания с отдельными министрами производили впечатление некоторой келейности. Я на них не только не присутствовала, но и не

интересовалась их целью, а сопровождала Гримма только на оффициальные заседания или митинги.

Однажды в Таврическом дворце Гримм после долгого разговора с Церетелли и Мартовым подошел ко мне и попросил зайти к нему на другой день для деловой беседы. „Представьте,—сказал он мне,—кто-то пустил утку о посланной якобы мной телеграмме Германии с предложением сепаратного мира". На следующее утро почти одновременно со мной к Гримму пришли тов. Раковский, Лапинский и, кажется, Мартов и П. Б. Аксельрод. Гримм показал нам текст двух деклараций, предложенных ему для подписи социалистическими министрами. В них известие о том, что Гримм посылал швейцарскому министру Гофману телеграмму с просьбой узнать у германского правительства, на каких условиях оно согласилось бы заключить мир с Россией, называлось инсинуацией, провокацией со стороны германского правительства и нарушением нейтралитета со стороны Швейцарии.

Гримм просил нас выразить наше мнение по поводу деклараций. Каждый из нас в отдельности, не сговариваясь друг с другом, заявил о недопустимости для Гримма соглашаться на предложенный ему такст деклараций. „Мало ли какие утки на наш счет распространяются—очевидно союзники хотят поставить вам ловушку, пользуясь слабостью министров-социалистов",—говорили мы. Гримм соглашался с нами. В течение дня он должен был повидаться еще кое с кем, а затем дать министрам свой отрицательный ответ. Настроение его делалось все мрачнее. Сделав неудачную попытку лично повлиять на министров-социалистов, чувствуя, что революционной России грозит непосредственная опасность, Гримм, привыкший находить исход из всякого положения, очевидно был одержим потребностью „вмешаться", добиться чего-нибудь. Незнание языка, вынужденное безделье, невозможность приложить и тысячной толики своей работоспособ-

ности—все это создало психологическую основу рокового шага, на который Гримм решился на беду Циммервальда и свою собственную,—на радость врагам интернационалистического движения. О внешних и внутренних обстоятельствах, при которых он совершил этот шаг, я никогда его не спрашивала; о том, что он действительно совершил его, я узнала лишь, когда он уже был в Швейцарии, а я из Петербурга направлялась в Стокгольм.

Восстанавливая факты в их вероятной логической и хронологической последовательности, я представляю себе, что, пользуясь настроением Гримма, его желанием во чтобы то ни стало повлиять на события, франкофильский представитель Швейцарии в Петербурге, Одье, прямо или косвенно навел его на мысль о злополучной телеграмме. Как известно, текст ее был перехвачен, расшифрирован и при посредстве франкофильски настроенного шведского соц.-демократ. депутата Брантинга напечатан в шведской газете „Соц. Демократен", редактируемой Брантингом.

Несколько часов после упомянутого собеседования, вечером мы должны были опять встретиться с Гриммом, чтобы узнать о результате его переговоров со Скобелевым и Церетелли. Чернова в Петербурге тогда не было, он находился на эсэровском с'езде в Москве. Когда мы пришли в ресторан на Невский, Гримм произвел на меня впечатление успокоившегося, чуть ли не веселого человека.

— Вы уже знаете о решении министров?"—спросил он нас.

До меня пришли на свидание с Гриммом Ю. О. Мартов, П. Б. Аксельрод, П. А. Лапинский. Вид и тон Гримма были таковы, что нам не могла прийти в голову мысль о неприятном исходе его переговоров с министрами. Я по крайней мере думала, что министры убедились в том, что Гримм предложенной ими декларации подписать не мог и удовлетвори-

лись его заявлением о непричастности его ко всей истории, и потому спокойно ждала сообщения Гримма.

— Министры заявили мне,—продолжал он,—что я завтра утром должен покинуть Россию. Меня высылают.

— Высылают?!—повторили мы все в один голос, причем не знаю в чьем тоне, на чьем лице выразилось больше удивления, ужаса, возмущения.

Мы все были ошеломлены, но острее всех в тот вечер и в следующие дни страдал П. Б. Аксельрод. Страдания его были острее из-за фракционной и личной близости к высылавшим товарища-интернационалиста социалистическим министрам. Центр тяжести понятно лежал в этой плоскости. Из революционной, освободившейся от всякого рабства, России высылается революционер. Высылается тот, кто воплощал Циммервальдское, выращенное нами в преследованиях и страданиях интернациональное революционное движение, долженствовавшее избавить весь мир от ужасов войны. Выслан из революционной России не врагами рабочего класса, а представителями его, социал-демократами, у которых оказалось больше солидарности с союзническими правительствами, чем с товарищами по революционному движению. Было от чего потерять голову! Единственным спокойным среди нас был Гримм. Он хладнокровно рассказывал подробности своей беседы с министрами.

— Завтра рано утром за мной заедут, привезут мне паспорт и билет от Чхеидзе, — говорил он, останавливаясь на деталях...

Мне вдруг пришло в голову, что отправлять Гримма одного не безопасно. При той травле, которой он уже подвергался до высылки его, — как мне тогда казалось, — могут подвергнуть насилию, убить. Другие товарищи нашли мое опасение непреувеличенным, и мы решили тут же ночью раздобыть провожатого. Я подумала о товарище-интернациона-

листе Бинштоке, влиятельном члене Сов. Раб. и Солд. Деп., близко стоящем к члену правительства, и имевшем возможность переехать границу. Мы с тов. Лапинским должны были розыскать его ночью, остальные товарищи пошли проводить Гримма...

Была чудная, светлая, белая, петербургская ночь. Когда мы вышли из тесного ресторана на просторный, широкий, безлюдный Невский, мы словно из темного погреба перенеслись на ярко освещенное безграничное пространство. Когда луна осветила нас, в особенности фигуру, лицо Гримма,—вся трагедия с новой, неотразимой ясностью предстала перед моими глазами. Все так отчетливо рельефно выплыло наружу на фоне спавшего и все-таки не спавшего Петербурга, шаги и голоса наши вызывали какое-то особенное эхо в мертвой тишине. Каждый шорох, каждое слово, каждый жест приобретали ясность, неизгладимость. Неизгладимым остается для меня воспоминание о том, как тов. Лапинский, взяв под руку Гримма, спросил его в последний раз, не послал ли он все-таки телеграмму и как тот ответил ему „нет“...

Тут мы расстались... Когда мы с товарищем Лапинским, наконец, розыскали извозчика и уселись — до нас доносились шаги равномерно шедшего Гримма и сопровождавших его Ю. О. Мартова и П. Б. Аксельрода. Слышался их немецкий говор...

Мы поехали на квартиру тов. Ларина, где жил Биншток. Трудно было достучаться, а еще труднее об'яснить причину и цель нашего приезда. В то время, как тов. Бинышток, согласившийся проводить Гримма через границу, старался снестись с Чхеидзе по телефону, М. А. Ларин, уже лежавший в постели, вдруг заявил:

— Гримм не должен уезжать. Такого позора мы не допустим. Завтра утром мы привезем его сюда. 5000 выборгских рабочих будут его охранять. Пусть попробуют министры его высылать.

Несмотря на наши, правда слабые, возражения, М. А. настоял на своем. Биншток рано утром должен был привезти Гримма не на вокзал, как предполагалось раньше, а на квартиру Ларина.

У меня не было ни физических, ни психических сил направиться домой, я просидела кошмарную ночь на диване, дожидаясь приезда Гримма и дальнейших событий... Каждые несколько минут я, борясь со сном и бессонницей, вспоминала, что случилось что-то ужасное, непоправимое. Что именно, я не знала. Я только чувствовала, даже отдавала себе отчет, что случилась беда, которая не может не отозваться на Циммервальдском движении. Будучи и ответственным работником Циммервальда и членом Ц. К. итальянской партии, с которой я не имела возможности снестись непосредственно и о которой я знала, что на нее обрушится новая кампания лжи и инсинуаций, я переживала все это особенно остро. Главное, что мучило меня, было чувство неуверенности, а вдруг действительно совершено что-нибудь недопустимое... И на это все назойливее и назойливее пробуждавшееся во мне сомнение отвечало произнесенное за несколько часов до того Гриммом: „нет“.

Утром Биншток, наконец, вернулся... один. Гримм, узнав, что известия о его высылке появились в Петербургских газетах, счел невозможным оставаться. Через Бинштока он послал мне Циммервальдские документы, протоколы и несколько сот рублей, собранных на митингах в пользу Циммервальдской Комиссии.

Последовавшие за высылкой Гримма часы и дни были кошмарными не только для меня одной... По несколько раз в день появлялись экстренные издания газет, посвященные „немецкому агенту Гримму и К°“. Под К° разумелись его единомышленники и ближайшие сотрудники. Намеки и сообщения о том, что им была послана телеграмма, обещание ее обнародовать делались все настойчивее.

Перед открытием с'езда Сов. Раб. и Солд. Деп. на фракционном заседании меньшевиков поднялись горячие дебаты против высылки Гримма, т.-е. против Церетелли и Скобелева и в защиту этих двух министров. Заседание было фракционное и потому я на нем не присутствовала и, насколько помнится, гласности его протоколы не предавались. От товарищей из меньшевиков и интернационалистов, однако, я узнала, что обвинителями министров и защитниками Гримма выступали Мартов и Аксельрод. Говорили, что этот последний в порыве негодования за высылку Гримма и поведение Церетелли и Скобелева идентифицировался с Гриммом, считая столь же абсурдным предположение, что Гримм сделал приписывавшийся ему шаг, как если бы этот шаг приписывался ему, ветерану Р. С.-Д. Р. П., П. Б. Аксельроду. Церетелли не устоял против авторитета П. Б. и на пленуме с'езда об'яснил причину высылки Гримма.

К тому времени интернационалисты начали созывать митинги протеста против высылки Гримма. На них главным образом выступали Раковский, Мартынов, Мартов и, кажется, Семковский. Митинги заканчивались принятиями резолюций против выславшего Гримма правительства и, в частности, против социалистических министров.

После того, как я раза два выступила на подобных митингах, я просила меня от этих выступлений освободить. Так как у меня было очень много другой работы, моя просьба была принята к сведению без всяких с моей стороны об'яснений. Об'яснить свою просьбу я вряд ли бы тогда могла.— В том, что Гримм не способен на гнусность, я была убеждена, но что его поведение могло подать повод не знавшим его близко товарищам усомниться в нем, — мне становилось все более ясным, а потому я по совести не могла с таким убеждением и негодованием защищать Гримма и обвинять социалистических министров, как могли делать это другие, не пи-

тавшие никакого сомнения. Этот вот оттенок лишал меня морального права, а потому и психологической возможности защищать резолюции, которые я при других условиях защищала бы с пылом, с громадным негодованием... Помню, как, провожая Раковскаго на митинг, я ясно ощутила невозможность, при моем суб'ективном настроении, выступить с протестом... Как раз в эту минуту появился экстренный номер газеты с выдержками телеграммы Гримма.

Мы все еще не верили, но не верить было все труднее, так как каждый день газеты приносили новые открытия по поводу дипломатических шагов Гримма, а мы этим известиям ничего конкретного противопоставить не могли. Так как все находившиеся в Петербурге Циммервальдцы обвинялись в согласии с ним, в особенности я и Раковский, то мы решили сделать публичное по этому поводу заявление. Отвергая какие-бы то ни было сомнения в честности Гримма, мы утверждали в этом заявлении, что если бы он действительно совершил приписанный ему шаг, он поступил бы совершенно недопустимо с точки зрения Циммервальдской, революционной и классовой.

Тов. большевики уже раньше в „Правде" отмежевались от Гримма и вообще придерживались фракционной и по отношению к нему политике, а потому в наших совещаниях редко принимали участие. Л. Д. Троцкий, который тогда вместе с тов. Луначарским, Рязановым и другими вошел в междурайонную соц.-дем. организацию, к которой примкнула и я, тоже с негодованием отнесся к Гримму, с одной стороны, и к кампании против него—с другой. В издававшемся тогда нашей фракцией органе „Вперед" Л. Д. уже тогда подверг верному психологическому анализу выходку Гримма, подчеркивая ее мелкобуржуазный характер. Очень волновался и негодовал М. А. Натансон, которому поступок Гримма казался, как и большинству из нас, нарушением не только дисциплины,

но и личного доверия. М. А. Натансон, как и П. Б. Аксельрод, как и многие другие, своей революционной честью поручились за Гримма при его приезде в Россию и в момент возникновения обвинения. Сомнений в том, что Гримм что-то совершил уж не оставалось. Пресса всего союзнического мира кишела известиями и комментариями об этом. Гримм, прибывши в Стокгольм, сам в интерьвю и статьях — уже больше не отрицал своей причастности в посылке телеграммы; оставалось лишь установить характер и границы этого участия.

Параллельно с тем, как в ближайших его сотрудниках росла уверенность в том, что он поступил непозволительно, росло и сознание необходимости передать его функции руководителя Циммервальда другому товарищу. Выбор пал на меня. Шведские левые социалисты Хеглюнд, Нерман и Карльсон, которые были выбраны членами Циммервальдской Комиссии до следующей конференции, по телеграфу просили меня по возможности скорее приехать в Стокгольм для руководства комиссией. После больших перепитий с паспортом, который Чернов выхлопотал мне, подчеркивая свою принадлежность к Циммервальду,—я в начале июля 1917 года после краткого пребывания в России отправилась в Стокгольм. Я уехала... словно во вторую эмиграцию. В поезде я встретила делегатов Совета Рабочих Депутатов В. Н. Розанова, Гольденберга, Эрлиха и А. Н. Смирнова, ехавших организовать созываемую ими международную социалистическую конференцию мира. Отношения между нами были чисто оффициальные, более чем холодные. Казалось, что пропасть между II Интернационалом и Циммервальдом отражалась и в нашей встрече, и в поездке и в чувствах, с которыми мы уезжали. Они — представители власти, к которым относились соответственно в России и при переезде границы,—я заподозренная в излишнем „интернационализме“.

Помню, с каким гнусно торжествующим видом какой-то пограничный чиновник, осмотрев мои вещи, остановился на подозрительном „документе“, листе писчей бумаги, на котором от соприкосновения с синей бумагой отпечатались синие линии. „Карта, снятая шпионом“ — пронеслось в голове чиновника и он нехотя возвратил ее через 1/2 часа, убедившись в том, что „снимка“ на бумаге не было. Странно и гнусно было слышать как на станциях, в вагонах, на пароходе публика произносила, не подозревая моего присутствия, и мое имя в качестве сообщника Гримма. А какая-то словоохотливая дама, желая втянуть меня в разговор, горячо оправдывала делавшиеся на границе обыски и осмотры, необходимостью оградить „Россию“ от визитов Гримма и ему подобных немецких шпионов. Публика тем более интересовалась этим вопросом, что Керенский и другие демагоги ловко использовали ребяческий шаг Гримма на пользу назревавшего тогда военного наступления. „Вот“, говорил обращаясь к с.-д. и с.-р. оппозиций, один из сторонников наступления в самый канун его, „вы за братание на фронтах, за интернационалистов, а ваши товарищи приезжают к нам с гнусным предложением сепаратного мира от германского империализма“.

## Циммервальдцы в Кронштадте.

Телеграмма, посланная Гриммом члену швейцарского правительства Гофману, была крупным козырем для союзнической и в частности русской шовинистической, соглашательской и социал-патриотической прессы. Удельного политического веса, серьезного значения ей никто не придавал, но раздуть ее появление, придать чудовищно непропорциональные размеры этому наивному эпизоду—этот повод с виртуозностью использовали враги нашего движения всех стран. Все детали этого, вооруженного наиболее усовершенствованными орудиями инсинуации, клеветы, демагогии, похода потому так врезались в память, что они с неподражаемой рельефностью показали, с какой ловкостью и беззастенчивостью, с какой подвижностью и цинизмом работает сложный аппарат защиты интересов господствующих классов, когда ему представляется возможность обработать общественное мнение в выгодном для сильных мира сего смысле. Эта телеграмма являлась самым желанным для врагов Циммервальда фактом и потому, между прочим, что он ретроспективно в глазах обывателя и бессознательных масс оправдывал возведенные на всех нас обвинения... Начиная с поездки в „запломбированных вагонах“ вплоть до предложения сепаратного мира.

Озабоченные тем, что приезд видных эмигрантов-интернационалистов может повредить делу союзников, они, желавшие „войны до победного конца“, конечно, усилили свою агитацию и, пользуясь участием социалистов в русском правительстве, посылали в Россию членов социалистических партий союзниче-

ских стран, дабы они производили желательное союзническим правительствам давление на своих товарищей. До чего в своем патриотическом рвении дошли всякие Тома, Вандервельде, де-Манны, Гендерсоны, говорить не приходится... Как раз прием, оказанный этим элементам не только социалистическими членами Временного Правительства, от которых нас тогда уже отделяла глубокая пропасть, но и членами И. К. С. Р. и С. Д., подчеркивал разделившую нас грань, и во мне лично вызывал чувство глубокой неприязни.

Эта неприязнь углубилась, когда с подобной упомянутой миссией в Петербург приехало трое итальянцев: принадлежавший поочередно ко всем политическим партиям вплоть до монархической, бывший социалист Артуро Лабриола, исключенный из-за своей принадлежности к масонским ложам из итальянской социалистической партии Лерда, и республикански-вульгарно антисоциалистически настроенный депутат Кьеза. Эта делегация была послана в Россию вопреки протестам итальянской социалистической партии и, так сказать, в пику ей. Итальянское правительство, конечно, не меньше других опасалось мирной политики революционной России. Эта боязнь росла по мере того, как росло влияние социалистических масс на внешнюю политику России. Положение Италии осложнялось еще и тем, что в то время как в Англии, Франции и Бельгии социалистические партии помогали правительству, ведя определенную линию в рабочей прессе и интернациональной политике, сделав своим лозунгом „войну до конца“, итальянская социалистическая партия, в частности ее пресса, руководимая неустрашимым и обладавшим революционным темпераментом тогдашним редактором „Аванти“ Серрати, верная Циммервальдским лозунгам, защищала левое крыло русского социализма, его интернационалистическую политику, его лозунги мира и братства народов. В то время, как бельгийские, французские, английские социалисты в своих

выступлениях по поводу русской революции и в своих приветствиях русских социалистов подчеркивали, что долг революционного авангарда довести до победоносного конца демократическую войну, истребив германский империализм, „Аванти" утверждал, что, лишь проложив дорогу миру народов, русская революция сможет исполнить свою историческую миссию, сможет укрепиться. Пропагандировавшие такие идеи не могли, конечно, быть союзниками итальянского правительства, и, в то время как им отказывали в паспортах, в Россию делегировались не столько от'явленные сторонники войны, сколько злейшие враги итальянского социализма. Одной из обязанностей их являлось „убедить" русских рабочих в том, что итальянский пролетариат, несмотря на „сектанство" оффициальной социалистической прессы и партии, является сторонником войны. Своим демагогическим выступлением против представителей интернационалистически настроенных итальянских масс и их представителей, которым в'езд в Россию не был разрешен,—эти три „паломника" словно задались целью заглушить громкий голос итальянского рабочего движения. Голос этот раздавался по всей стране, с требованием мира, с обличением империалистической бойни, с протестом против лозунга войны до конца, с горячей солидарностью по отношению к тем, которые в России хотели довести до конца революцию...

Выступления этих трех „гостей" в достаточной степени характеризовали их в глазах революционно мыслящих рабочих. Единственное, что стоило сделать, это было помешать приехавшим из Италии господам выдать себя за членов социалистической партии и быть принятыми Советом Р. и С. Д. за таковых. Не мешало лишний раз отмежевать итальянскую партию от самозванческих поползновений соотечественников. Такое отмежевание являлось тем более моей обязанностью, что мои товарищи по Ц. К. итальянской партии, в виду

бдительности цензуры, не имели возможности снестись с Петербургом и дезавуировать ходоков правительства. Из беседы, которую я по этому поводу имела с И. К. С. Р. и С. Д., я вынесла особенно неприятное впечатление,—трудно было сказать, с кем товарищи меньшевики и эс-эры внутренне чувствовали себя солидарными,—с итальянскими Циммервальдцами или со сторонниками „демократической" войны.

По приезде на родину, быть может, не черезчур удовлетворенные „конкретным" результатом своей поездки, три итальянца и, насколько помню, больше всего г. Лабриола, начали кампанию в прессе против дефетизма Гримма и других Циммервальдцев, упоминая, между прочим, о том, что благодаря моему выступлению перед кронштадтскими матросами, шансы Австрии в войне с Италией поднялись: русский флот откажется воевать, Австрия сможет перебросить свои морские силы против Италии... Этот „стратегический" обзор был особенно смехотворен. Однако, мое выступление в Кронштадте было использовано впоследствии искусно прессой, в особенности итальянской. Поставленная в логическую и хронологическую связь с пресловутой телеграммой Гримма, произнесенная мною перед кронштадтскими матросами речь должна была „неоспоримым образом доказать", как мы все,—Гримм, я, Ц. К. итальянской партии,—стремились к одному только—облегчить участь Австро-Германии, добившись сепаратного мира, благодаря которому она могла бы „раздавить" союзнические силы.

В мою память, однако, этот кронштадтский митинг врезался по другим психологическим причинам...

Это было в конце мая или в начале июня, когда только еще назревали события и настроения, на фоне которых разыгралась Гриммовская афера. Общее и, в частности, военное положение России и революционное настроение кронштадтского флота естественно привлекло к нему особое

внимание революционных партий и отдельных их членов. Так, туда на агитацию ездили Х. Г. Раковский, находившийся тогда в Петербурге, по освобождении из румынской тюрьмы; там на громадном митинге, длившемся всю ночь, выступал Л. Д. Троцкий, вынесший от митинга, от принятой резолюции, от поставленных ему революционными матросами вопросов самое лучшее впечатление. Туда вызваны были социал-демократическими и эс-эровскими организациями, об'единявшимся Циммервальдской платформой, Гримм и я. Провожал нас, между прочим, и принимавший самое близкое участие в организации митинга, принадлежавший тогда к партии левых эс-эров тов. А. М. Устинов. С ним и было условлено, что с программной речью о Циммервальдском движении выступит Гримм, что переведет ее А. М. и что в заключение возьму слово я. Социальная атмосфера была сильно напряжена, наэлектризована начинавшейся пропагандой в пользу наступления и нашей по отношению к ней оппозицией. В прессе поговаривалось о сепаратистски-автономном выступлении Кронштадта, муссируемым нашей пропагандой.

Равномерное плавание маленького пароходика, не нарушаемое ни одной волной, ясное небо, прозрачность Невы, торжественное молчание или молчаливое красноречие Петербурга, от которого мы постепенно удалялись, казалось трагическим контрастом, до известной степени неприятным перемирием. Словно природа хотела отдалить нас от той борьбы, к которой мы рвались всем существом. Это тяжелое настроение не покидало меня и тогда, когда я участвовала в разговоре с другими товарищами.

При торжественном приеме, устроенном нам различными революционными организациями, приехавшими на пристань делегациями со знаменами и разукрашенными автомобилями, меня поражала немногочисленность с.-д. большевистских делегаций. Немногочисленные, даже принимая во внимание тогдаш-

нее соотношение партийных и фракционных сил. Это обстоятельство и кое-какие другие оттенки приема навели меня на мысль, что что-то случилось. Уже по дороге в клуб недоразумение раз'яснилось: оказалось, что разнесся слух, что в Кронштадт приезжает вышеупомянутая буржуазная итальянская делегация! Часть революционных партий и матросов, среди которых этот слух распространился, решила бойкотировать митинг. До митинга имело место торжественное заседание С. Р. и С. Д., на котором я выступила со сделавшейся впоследствии „знаменитой" речью. Те места ее, в которых я касалась отношения социалистических масс к войне, к миру, к русской революции, подчеркивались бурными демонстративными рукоплесканиями. По окончании моей речи, покойный товарищ Рошаль от имени фракции большевиков выразил сожаление в возникнувшем недоразумении. Митинг был созван в манеже часа в три, но уже гораздо раньше он был переполнен. Раз'яснение недоразумения еще увеличило наплыв публики.

По мере того, как приближался момент открытия митинга, во мне все яснее созревало,—пожалуй, полубессознательное,— желание не брать слова на нем. Это хорошо мне известное чувство я бы назвала внутренней стыдливостью. Сознанием того, что брать слово, в особенности перед пролетарской публикой, лишь тогда дозволено, когда имеешь сказать что-нибудь определенное, могущее оказаться более или менее новым, т.-е. полезным для данной аудитории. Я всегда считала долгом касаться в речах тех вопросов и в такой форме, которая возбуждает мысль, критический подход к той или другой теме. В агитации, как и при чтении, дело не столько в том, сколько знаний приобретешь, а в том, что учишься познавать, искать знаний, самостоятельно думать. Бывают, однако, моменты, настроения, когда аудитория, независимо от уровня ее развития и интереса к обсуждаемому вопросу,

так наэлектризована, так пренасыщена определенными впечатлениями и эмоциями, что не только не может относиться критически к говоримому, но даже вообще уже не воспринимает ничего, а находится под определенным аффектом. Когда такое настроение овладевает публикой, для нее не имеет никакого значения ни качество, ни количество, ни форма приводимых доводов, а она только с благодарностью и восхищением принимает то, что ей говорит оратор, принадлежащий к определенному течению, вызывающий известные ассоциации. Таким был в тот день Кронштадт. Говорю Кронштадт потому, что наряду с матросами пришло в манеж и все его окрестное население. Толпа была так многочисленна, люди так густо стояли друг подле друга, что не только повернуться невозможно было, но и было трудно дышать.

Произнесенная Гриммом на немецком языке длинная и потому особенно монотонная речь выслушивалась с вниманием и с той восторженностью, о которой только-что приходилось упоминать. По мере того, как Гримм говорил, мне все яснее становилась бесполезность брать слово после него, обстановка не подходила для серьезного разбора какого-нибудь конкретного вопроса, и, что бы я ни сказала, пало бы на почву общего уже ни в чем не разбиравшегося энтузиазма, вызвало бы новые взрывы его. Присев на ступеньку эстрады, я попросила устроителей митинга закрыть его после речи Гримма, так как прибавить к ней ничего не имела.

Когда мы двинулись к выходу, казалось, что к нему добраться мы не сможем. Нас давили и душили, толпа рвалась вперед, наэлектризованная... Тогда двум товарищам, должно быть боявшимся, что меня задавят, вздумалось понести меня; тотчас же громадная, необозримая цепь рук окружила несших меня и кто-то даже закричал: „понесем товарища Балабанову". Мне сделалось бесконечно жутко на душе, чувство такой же стыдливости, как и то, что лишило меня

возможности говорить на митинге, лишило меня физических и психических сил реагировать на то, что меня окружало, на то, что со мной делали. Я чувствовала, что каждое мое слово, каждый жест протеста только увеличит восторженное возбуждение и что всякая попытка положить конец тяжелой сцене только еще увеличит проявление этой восторженности. Тогда, обращаясь к несшему меня, давно мне известному товарищу Рошалю, я тихо попросила его избавить меня от этих мук. И тогда, когда он ответил мне: „Тов. Балабанова 20 лет работала на то, чтобы сделать возможными теперешние события, и кронштадтский пролетариат хочет нести ее на руках", я поняла, что несли меня не столько, чтобы спасти от давки, а что несли меня на руках и в другом переносном смысле слова. Жуткая до слез тоска сжала мне сердце, немое отчаяние, покорность овладели мною, и это чувство еще углубилось, когда я видела, как и Гримма подхватили, как его руки обхватили несших его матросов, а длинные ноги беспомощно болтались в воздухе.

Несли нас несколько минут, до пристани, но мне эти несколько минут показались буквально десятилетиями, я чувствовала себя осужденной и прикованной. Толпа приближалась все ближе и ближе, меня хватали с рук на руки. Я переживала весь символический смысл происходившего. Пролетариат безымянный, не знающий границ ни умению страдать, ни умению любить, выносил нас на своих широких терпеливых плечах и поднимал нас высоко, высоко над собой. Сам задыхался от жары и тесноты, а нас заставил дышать свежим воздухом, летать в пространстве, над юдолью печали, горя, слез и гнета. И с той высоты, на которую подняли меня, через густую цепь пролетарских рук, соединившихся, чтобы облегчить мне проход к пароходу, яснее и глубже открывалась перед моими глазами пропасть, отделяющая через-чур еще покорный, даже по отношению к своим же товари-

щам революционерам, пролетариат, от нас, интеллигентов, и стыдно мне стало за искусственную высоту, на которую подняли меня обновленные революцией мученики-труженики, и жгуче захотелось дать им то, чего в тот день уж никак дать нельзя было: более критическое к нам, интеллигентам, отношение, умение отделять идеи от их носителей, дабы идеи сделались их неот'емлемым достоянием... О своем настроении, о его причинах я никому ничего не говорила, тем более, что все были в восторге от удачных заседаний и митингов, которым наш приезд послужил поводом. Но если бы кто-нибудь, догадавшись о моем настроении, спросил меня, чего собственно мне не доставало, чего еще я могла себе пожелать после этого восторженного выступления громадного количества пролетариев, я бы могла формулировать свое желание лишь в несколько фантастической форме. Я бы пожелала себе, чтобы все нас слушавшие в тот день были сознательными социал-демократами, чтобы энтузиазм могли вызвать в них только революционные события, чтобы они чувствовали себя носителями большой идеи, исполнителями заветов истории, могильщиками старого мира.

По приезде в Петербург, вечером, как и утром, природа спокойная, невозмутимая, неподвижные здания и памятники, прозрачная синева Невы показались опять резким контрастом с моим внутренним миром... Мы направились в тогдашний генеральный штаб эс-эров, какой-то экс-романовский дворец, где нас с наивной пытливостью расспрашивали о впечатлениях знаменательного дня.

Такой была для меня поездка в Кронштадт, которая, по словам союзнических писак, была использована мною в интересах австро-германского империализма...

## Циммервальдцы в Стокгольме.

Только на финско-шведской границе, где я в первый раз после приезда в Россию увидела немецкую газету, я прочитала текст Гриммовской телеграммы... и окончательно убедилась в том, что циркулировавший слух не был уткой, что телеграмма была не вымышленной и что Гримм сказал нам неправду. Это последнее обстоятельство больше всего потрясло меня...

Одновременно с тем, как я знакомилась с текстом телеграммы, союзнические газеты в длинных телеграммах и статьях инсинуировали о моем участии в отправке ее, а итальянская пресса ставила ЦК итальянской социалистической партии перед дилеммой либо дезавуировать меня, либо взять на себя ответственность за сделанные мной с ее согласия шаги к заключению сепаратного мира с Германией... Я с нетерпением ждала своего приезда в нейтральную Швецию, чтобы войти в контакт с итальянской партией. Однако, прибыв в Стокгольм, я прочла в „Аванти“, что мои товарищи, не дожидаясь известий от меня, с негодованием отвергли инсинуацию и заявляли о своей глубокой солидарности со мной...

К тому времени в Стокгольме сорганизовалась комиссия по делу Гримма. В нее входили представители нескольких циммервальдских партий, в частности, русской — Радек, Воровской, Ганецкий; шведской—Линдгаген, Хэглунд, и болгарской—тов. Кирков. Результатом работ этой комиссии была резолюция, в которой сделанный Гриммом дипломатический шаг характеризовался, как недопустимый с точки зрения

Циммервальдской и революционной вообще. Личная же честь Гримма бралась под защиту перед нападками вульгарной прессы. Эта резолюция вменяла Гримму в обязанность немедленно сложить мандат руководителя Циммервальдской комиссии. Руководство Циммервальдской работой было, как уже указано выше, передано комитету, состоявшему из трех шведских товарищей—Хэглунда, Нермана, Карльсона и меня. В день моего приезда этот комитет вступил в свои функции и беспрерывно исполнял их до моего от'езда из Стокгольма в сентябре 1918 года. За все это время,— а время было тяжелое, серьезное, влекло за собой массу ответственности,— работа этого комитета не прерывалась и не осложнялась ни одним кризисом, ни одним конфликтом. Часто мне приходило в голову, что практический личный опыт, приобретенный за время сотрудничества с шведскими товарищами, являлся опровержением ходячего места, что всякое политическое сотрудничество небольшого количества лиц ведет неминуемо к интригам и распрям.

Наоборот, там, где люди, в частности революционеры, наряду с преданностью делу, проникнуты доверием и уважением друг к другу, работа как раз таких малочисленных органов может быть очень продуктивна. Необходимым для этого условием отнюдь не является ни сходство темпераментов, ни идентичность взглядов во всех оттенках. Для гармоничного сотрудничества, гарантирующего действительное проведение в жизнь мнений большинства организаций, по отношению к которым комитеты являются лишь координирующими и исполнительными органами—необходимым условием является уважение к чужому мнению, уважение к личности индивидуальной и коллективной. Только при этом условии деятельность подобных нашему комитетов может быть коллективно-анонимной. Каждому члену комитета хочется по возможности больше слиться с остальными — с массами, и не может быть

речи о вульгарном подчеркивании роли той или иной личности, являющихся таким режущим диссонансом с революционными, геройскими, анонимными движениями масс.

Работы у вновь созданной Циммервальдской Комиссии было много и весьма неотложной. Внимание всего мира сосредоточивалось на созываемой Советом Рабочих и Солд. Депутатов социалистической конференции мира; она должна была иметь место в Стокгольме. Там же к тому же времени основался голландско-скандинавский комитет, состоявший из представителей названных партий и некоторых членов бюро II Интернационала. В то время патриотический характер большинства социал-демокр. партий был настолько ясен, что в пролетарских массах, ни на фронте, ни в тылу, созываемая конференция особых надежд вызвать не могла, даже в самых отсталых слоях рабочих масс; об авангарде их и говорить нечего: они принципиально и фактически были за Циммервальд. С наибольшим вниманием и чаянием относилась к этой мирной конференции мелкая буржуазия, уставшая от войны и обывательски верившая в чудо; этой конференции ждало— как и всякой сенсации—общественное мнение, для обслуживания которого в Стокгольм прибыла тьма журналистов и, наряду с ними, много политических деятелей и влиятельных лиц вообще. Само собою разумеется, что ожидавшиеся события привлекли в Стокгольм открытых и тайных агентов правительств, многочисленные бюро пропаганд и прессы. В такой удушливой атмосфере пришлось жить и работать, и открыто и конспиративно, почти все время, и проводить третью Циммервальдскую конференцию. И если за это время ни одно „сенсационное“ открытие, ни один слух, ни одно интервью не попало на столбцы жадно ловившей всякую возможность донесения на „Циммервальд“ прессы, если, несмотря на осаждение нас назойливыми журналистами, все-таки удалось охранить наше движение от „нескромностей“ и опошле-

ний, то этим мы были обязаны той внутренней и внешней спаянности и выдержке, той взаимной солидарности, которая связывала членов Циммервальдской Комиссии.

Среди с'ехавшихся на конференцию в Стокгольм социалистов не-союзнических стран были и представители меньшинств партий и Циммервальдцы. Представители большинств с.-д. партий приезжали для ориентации, для переговоров с созывавшими конференцию, для представления мемориалов о своей деятельности. Некоторые из них формулировали условия приемлемого с их точки зрения мира, включая вожделения и требования своих правительств в представлявшихся ими социалистическому бюро доклада. Приезжали главным образом германские, балканские социалисты и социалисты из нейтральных стран. Все те, кому удавалось достать паспорта, т.-е. все те, правительства которых были принуждены подумывать о мире или не боялись переговоров о нем. Некоторые делегаты приезжали даже с двойными мандатами; им поручалось принять участие в обеих конференциях; это отчасти облегчало возможность проехать, так как мирная конференция являлась желательной и во всяком случае не опасной для некоторых правительств. Приезжали и социалисты союзнических стран, между прочим, и из Италии, но с целью обрабатывания общественного мнения в противоположном „преждевременному“ миру смысле.

Среди Циммервальдцев было два течения, приблизительно совпадавших с течениями, обнаружившимися среди русских Циммервальдцев на упомянутой мною петербургской конференции. Одни были за отклонение всякого участия в конференции, созываемой с.-д. большинством бюро II Интернационала и ориентировавшихся все правее и правее Советов Раб. и Солд. Деп.; другая часть Циммервальдцев была за условное и ограниченное участие в конференции. Они хотели воспользоваться ею для обличения партий социал-патриоти-

ческого большинства, для требования от них отчета перед лицом Интернационала. Принадлежавшие к обоим из этих течений были за созыв Циммервальдской конференции, на которой и должны были быть решены вопросы огромной важности: способы борьбы за мир и волновавший все Циммервальдские круги вопрос о формах содействия русской революции, ее укреплению... Большинство германских Циммервальдцев было за участие в мирной конференции в упомянутых мною границах. Эту точку зрения особенно горячо отстаивал Гаазе; против нее был Ледебур. Среди делегатов партии германских независимцев, примыкавшей целиком к Циммервальду, были и такие, личные симпатии которых были на стороне бюро, созывавшего мирную конференцию соглашателей. Такова была ориентация Каутского, Бернштейна и некоторых других. Я говорю о „симпатиях" потому, что в то время это отношение не выливалось в форму резолюций или голосований. Наши тогдашние совещания вообще носили лишь прелиминарный характер обмена мнений. В них принимали участие лишь Циммервальдцы той или другой страны, в зависимости от возможности приехать в Стокгольм, представители почти всех русских организаций, примыкавших к Циммервальду, и члены Циммервальдской комиссии. Решений совещания такого рода принимать не могли, но „симпатии" выражались в речах, в тоне, в личных беседах, в том, как часто принималось участие в наших совещаниях и в заседаниях голландско-скандинавского бюро.

На первом созванном мной в день приезда в Стокгольм заседании сразу обнаружились громадные разногласия среди членов русских делегаций. Приглашенные нами представители Сов. Раб. и Солд. Депут. Гольденберг, Розанов и Эрлих пришли весьма „неохотно" и несколько раз подчеркнули, что участие их носит информационный характер. Принадлежа к партии, стоявшей на платформе „Циммервальда", они не

могли не явиться, но из их подхода к вопросам, из содержания и тона их речей видно было, — впрочем, они и не старались этого скрывать, — что они уже ангажировались с шведско-голландским бюро, с которым у них в тот же день—в день нашего общего приезда—уже было совещание. От имени делегации Сов. Раб. и Солд. Депут. говорил, главным образом, Иосиф Петрович Гольденберг. Его выступления имели скорее характер оборонительный. Ему пришлось ответить на ряд вопросов, поставленных ему Радеком, членами Циммервальдской Комиссии и представителем меньшевиков интернационалистов Ерманским. Всем нам было чрезвычайно важно узнать из уст самих инициаторов конференции, кого они собственно созывают, что являлось минимумом, дававшим право участвовать на конференции мира. Являлось ли условием к допущению на нее признание классовой, революционной борьбы единственным средством для достижения мира, или же на эту „социалистическую“ конференцию могли явиться и сторонники перемирия классов. Короче, необходимо было выяснить, имела ли эта конференция быть конференцией большинств, т.-е. выразителей интересов соответствующих воюющих правительств, или меньшинств, выразителей интересов и идеологии международного революционного пролетариата. Определенного ответа нам в тот вечер дать не могли или не хотели. Представителям Советов Р. и С. Д. предстояло еще принять формальное решение на основании переговоров с другими организациями и представителями различных с.-д. партий, — но определенное впечатление можно было вынести уже и в тот вечер. Главные инициаторы мирной конференции, — представители С. Р. и С. Д., — были за расширение платформы, за приглашение и тех партий, которые нанесли смертельный удар Интернационалу и в борьбе с которыми родился и оформился Циммервальд.

Через несколько дней вынесенное впечатление подтвердилось совершившимся фактом слияния делегации С. Р. и С. Д. с голландско-скандинавским комитетом. Внутренний разрыв между заграничной делегацией С. Р. и С. Д. и нами произошел гораздо раньше, но очевидным для всех он сделался в упомянутом мной заседании Циммервальдской Комиссии с представителями различных Циммервальдских партий и С. Р. и С. Д. Юридический разрыв между Циммервальдской комиссией и заграничной делегацией С. Р. и С. Д., созывавшей мирную конференцию, произошел на другом заседании, не лишенном психологического интереса, о котором придется еще упомянуть. Что касается меня лично, то должна признаться, что сознание неизбежности разрыва очень меня облегчало морально и политически. Не имея права решать вопрос об отношении к конференции без опроса всех партий, я, однако, суб'ективно не видела ни возможности, ни желательности сотрудничества с соглашательским элементом...

---

Формальный разрыв между Циммервальдской Комиссией и русскими организаторами мирной конференции произошел через несколько дней после упомянутого совместного заседания в бюро Циммервальдской Комиссии. Делегация С. Р. и С. Д. запросила письменно Циммервальдскую Комиссию, согласится ли она присоединить свою подпись к воззванию, програме, порядку дня, выработанным обоими названными комитетами. Делавшие нам это предложение знали, что принять его мы не можем, но обращались к нам чисто формально: С. Р. и С. Д. поручил своей делегации привлечь и Циммервальдскую комиссию к участию в конференции. Кроме того, русские партии, созывавшие интернациональную конференцию, принадлежали, по крайней мере оффициально, к Циммервальдской комиссии. Наш ответ был таким-же оффициальным,

как и запрос. Являясь органом исполнительным, наша комиссия не могла отказаться от участия в конференции, хотя все члены были против нее. Она тем менее могла отказаться от участия в ней, что еще в Кинтале было постановлено, и петербургским и стокгольмским совещаниями было подтверждено, что вопрос об участии в конференции, созываемой бюро II Интернационала, может быть решен лишь новой Циммервальдской. Но в качестве органа исполнительного мы могли отказаться от участия этого-же органа в созыве конференции. Этим правом мы и воспользовались. Таким образом, к обоюдному облегчению, были прерваны и формальные отношения двух организаций, отдаленных друг от друга глубокими, непримиримыми разногласиями.

---

Мы, члены Циммервальдской комиссии, почувствовали себя свободнее и политически, и морально и лучше могли справиться с главной задачей — созыва настоящей интернациональной и социалистической конференции. В ней могли принять участие лишь те, которые серьезно и искренно добивались борьбы пролетарских масс за мир, искренно и серьезно отдавали себе отчет в политической, социальной и моральной ответственности за судьбу русской революции. События в России и в Зап. Европе, на фронтах и в тылу — все подтверждало с неотразимой ясностью, что либо революция убьет войну, либо война революцию.

---

На одном из упомянутых подготовительных собеседований было решено созвать Циммервальдскую конференцию за несколько дней до открытия оффициальной конференции социалистической. Надлежало решить вопрос об участии Циммервальдцев в общей социалистической конференции. В принятой

по этому поводу резолюции говорилось, что еслибы социалистическая конференция состояться не могла, а это становилось все более и более вероятным, Циммервальдская должна быть тем не менее созвана. Стратегическое положение на фронтах и общее настроение делали социалистический международный с'езд невыгодным для союзников, а потому социалистам союзнических стран было отказано в паспортах. Грустно и стыдно было следить за быстро сменявшимися декорациями этой мизерной траги-комедии. Казалось, судьба войны и мира, судьба Европы, человечества зависела от с'езда, а главные участники его, социалисты, подписавшие классовое перемирие с правительствами, не могли добиться от них „паспортов!" Правительства играли с ними, как кошка с пойманной мышью: сегодня обещали паспорта, завтра в них отказывали. Сегодня остановка была за одним правительством и все внимание концентрировалось на его „ответе", а завтра центр внимания переносился в другую часть воюющей Европы, от правительства которой вдруг, через ночь, согласно сообщениям тенденциозной, рассчитанной на обывательскую, безграмотную публику, прессы стало зависеть спасение от смерти многомиллионного воюющего населения, от дальнейшего разрушения еще уцелевших сокровищ, культуры, цивилизации...

А на следующий день опять оповещалось, что разрешение дано не было и что „социалисты" отказываются от поездки на конференцию, от которой, по их-же словам, зависело будущее „демократии", свободы рабочего класса, социализма.

## Третья Циммервальдская конференция.

Чем постыднее становилось поведение главных организаторов мирной конференции, тем настоятельнее становилась необходимость организации Циммервальдской конференции. Долгом честных революционных меньшинств являлось доказать, что не все социалистическое движение умерло позорной смертью, что солидарность эксплоатируемых классов не была пустым звуком, что пролетарский Интернационал, действительный, не был пустым словом. С другой стороны, чем менее осуществимой становилась конференция, созванная соглашателями *), тем многочисленнее становились полицейско-технические препятствия для осуществления циммервальдской: легче было проехать циммервальдцу, если вместе с ним ехали на социалистическую конференцию и представители большинства партий и наоборот. Пришлось соблюдать большую конспиративность до открытия конференции и обнародования ее решений. А это уже в виду упомянутой, создавшейся в Стокгольме атмосферы, было особенно трудно.

---

*) Созывалась она на 15 Августа в Стокгольм со следующим порядком дня:

1) Мировая война и Интернационал.

2) Программа мира Интернационала.

3) Средства для осуществления упомянутой программы и скорейшего окончания войны. Приглашение было назначено от имени С. Р. и С. Д. Эрихом, Гольденбергом, Розановым, Русаковым, Смирновым, а от голландско-скандинавского комитета Трульстра, Ван-Колин (Голландия), Брантингом, Сёдербергом, Мёллером, Иоргбером (Скандинавия).

Разочарованные невозможностью угостить своих читателей сенсационными подробностями большой конференции, журналисты и агенты жадно набросились-бы и на „суррогат мировой мирной конференции“, на с’езд революционных меньшинств. Все это удалось обойти. Конференция была созвана в Стокгольме на 5 сентября 1917 г., ровно два года после открытия первой Циммервальдской конференции.

Так как о третьей Циммервальдской конференции, в отличие от двух, ей предшествовавших, упоминалось в прессе очень немного и в виду конспиративного характера ее и принятого на ней решения, в виду того, что Октябрьская революция естественно отвлекла внимание от событий менее грандиозных, я несколько подробнее остановлюсь на ней, как и вообще на деятельности Интернациональной Комиссии по ее перенесении в Стокгольм.

Русским читателям хорошо известна социальная атмосфера в России в сентябре 1917 г. Она доминировала и на III Циммервальдской конференции, но на ней здесь, по только что указанным причинам, останавливаться не приходится.

На третьей Циммервальдской Конференции русская делегация была относительно малочисленна: внутреннее положение страны помешало партиям послать представителей непосредственно из России; представляли их заграничные делегации: от Р. С.-Д. Р. П. (Ц. К.) присутствовали тов. Воровской (Орловский) и Александров (Семашко). Представители О. К. Р. С.-Д. Р. П. Аксельрод и Панин покинули конференцию до ее окончания. Первый потому, что не счел для себя возможным голосовать за манифест, с некоторыми частями которого он был не согласен; второй покинул ее гораздо раньше еще до открытия прений, заявив письменно, что полученный им мандат уполномочивал его принять участие в Циммервальдской конференции только, если на ней будут представлены все партии и если она решит, что Циммервальдцы дол-

жны принять участие в общей социалистической конференции за мир. От фракции меньшевиков-интернационалистов присутствовал Ерманский; от польской партии Радек и Ганецкий.

В отличие от всех других конференций и совещаний военного времени, на третьей Циммервальдской Конференции присутствовали и австрийские делегаты, т.-е. две представительницы меньшинства австрийской соц.-демократической партии, об'единившиеся в кружке „К. Маркс“: Тереза Шлезингер и левая Циммервальдийка Луццато. Румыния была представлена старыми товарищами Фриму и Константинеску. Представители болгарских тесняков, Коларов и Кирков уехали из Стокгольма, не дождавшись открытия Циммервальдской конференции, заявив, что их партия подчинится решениям конференции. Представители оппозиции болгарской партии широких социалистических и федерации болгарских профсоюзов Тинева и Харлакова приехали по окончании конференции и присоединились к ее решениям. Америка была представлена не безизвестным организатором безработных Гау, у которого был мандат от Интернационального Братства и тов. Азисом от Американской Лиги Социалистической Пропаганды. Немецкая независимая партия прислала наиболее многочисленную делегацию: в нее входили оба председателя партии Гаазе и Ледебур, депутаты Венгелс, Гоффер, Штатхаген, Оскар Кон; от группы „Спартак“, тогда еще не отделившейся от партии независимцев, присутствовала Кете Дункер. От финской партии присутствовал Ирио Сирола, работавший все время до и после оффициального присоединения финской партии к Циммервальдской комиссии, с ее исполнительным органом в Стокгольме. Интернациональная Комиссия целиком участвовала в конференции, в бюро она была представлена пишущей эти строки.

Из Швейцарии были делегированы Эрнст Нобс, редактор цюрихской соц.-дем. газеты, и Роза Блох. Скандинавские Циммервальдцы были представлены в лице делегатов партии

и юношеских организаций. Председательствовал бургомистр Стокгольма, циммервальдец Карл Линдгаген. В порядке дня конференции стояли следующие вопросы: 1. Доклад интернациональной комиссии; 2. Борьба за мир и отношение к ней Циммервальдцев; 3. Дело Гримма; 4. Отношение к Стокгольмской конференции.

Предстояла неприятная задача: отчет по делу Гримма, который по болезни не мог приехать. Однако, члены конференции были настолько преисполнены сознанием важности и неотложности предстоявших с'езду решений, что дебаты по делу Гримма не открывались, а только принята была к сведению резолюция, вынесенная в свое время созданной для этой цели комиссией. Сделанный мною отчет о деятельности Циммервальдской комиссии тоже не вызвал принципиальных дебатов. Вопрос об участии в эвентуальной социалистической конференции, хотя и дебатировался, но горячих споров и конкретных решении вызвать не мог, ибо к тому времени уже потерял всякую актуальность. Гвоздем конференции, главным образом, являлся вопрос о русской революции и ее дальнейших судьбах и вытекавшем отсюда революционном долге пролетариата всех стран.

Незадолго до созыва третьей Циммервальдской Конференции, интернациональная социалистическая комиссия выпустила воззвание под заглавием: „Русская Революция в опасности", в котором подробно останавливаясь на внутреннем положении России, на растущей контр-революционной опасности, указывалось, что причиной этой опасности является в значительной степени то обстоятельство, что трудящимся массам России не была оказана соответствующая поддержка со стороны трудящихся масс других стран. В связи с этим подчеркивалось, что выражения платонической солидарности с русской революцией недостаточно, а что долгом всех трудящихся является борьба против капитализма, против империализма

в собственной стране. Воззвание оканчивалось указанием на то, что ответа на вопрос: *убьет-ли война революцию или революция войну*,—русские революционеры ждут от эксплоатируемых классов Западной Европы. Таким образом в этом воззвании были некоторым образом предначертаны цель и программа третьей Циммервальдской Конференции.

На конференции уже до начала дебатов обнаружилась фракционная борьба среди русских делегаций, но драматичности она достигла, главным образом, во время страстной, не всегда сдержанной полемической речи П. Б. Аксельрода. Дебаты открылись длинной речью Радека, обличавшей антипролетарскую политику Временного Правительства и его социалистических членов, обнаружившуюся во время июльских событий. По мере того, как он говорил, а Ерманский и Аксельрод его прерывали, симпатии или, вернее, солидарность всех присутствующих переходила на сторону отстаивавшего тактику Ц. К. РКП Радека. Этот перевес еще увеличился во время речей оппонировавших ему Ерманского и Аксельрода.

Доклады нерусских делегатов выслушивались с меньшим вниманием; в них в большинстве случаев повторялось уже известное из прессы, из Циммервальдских бюллетеней, из личных бесед. Чрезвычайно интересно построенным показался мне доклад Терезы Шлезингер. Несмотря на то, что она в весьма мрачных красках рисовала положение в Австрии, она так рельефно оттенила под'ем, вызванный покушением Фридриха Адлера и его выступлением на с'езде, что у всех создалось впечатление чего-то глубокого, подкапывающего инертность социал-демократических масс.

Другим любопытным моментом конференции были доклады вернувшихся из поездки в Англию, Францию и Италию Гольденберга, Смирнова и Русанова. Конференция прервала прения, чтобы заслушать эти доклады. И в них нового было

немного. Интересно было лишний раз убедиться, как подобного рода доклады, отчеты, впечатления окрашиваются суб'ективно-фракционно. В этом подчас совершенно подсознательном подтасовывании, если не фактов, то выводов из них, мне пришлось убедиться бессчетное число раз во время войны. Живя в нейтральных странах, я имела возможность встречаться с выходцами разных стран, побывавших на разных фронтах. Люди разных темпераментов, принадлежавшие к различным партиям и фракциям, порой даже аполитичные. С жадностью набрасываешься, расспрашиваешь и получаешь различные по содержанию, но одинаковые по тенденциозности ответы. У меня выработалась привычка большинству из случайно проезжавших предлагать серию стереотипных вопросов не столько из-за конкретного содержания ответов, сколько из-за психологического любопытства. Из двух приезжавших, приблизительно в одно и то-же время из одних и тех-же мест и сообщавших об одних и тех-же фактах,—один выводил из них заключение, что тыл устал, что с фронта приходят тревожные для империалистического правительства сведения и что больше 3—4 мес. или дольше зимы война продолжаться не может. Другой рисовал в мрачных красках инертность тех-же масс в тылу, шовинистический дурман, оп'янявший солдат на фронте и кончал предсказанием, что война будет вестись до полного истощения военных и гражданских сил. Но еще ярче выступала суб'ективность суждений, когда дело шло об экономическом положении страны. По мнению одних, всего было вдоволь и рабочим массам в тылу жилось не хуже, чем раньше, а другой рассказывал о страшном недоедании и назревающих в связи с этим бунтах. И даже когда случайно получалась очная ставка между свидетелями событий тех-же стран, каждый из них поддерживал и иллюстрировал свою точку зрения в зависимости от того, чего он подсознательно желал, от того, что ему хотелось видеть.

Если он, будучи немцем, ненавидел немецкое правительство, кайзертум, то все происходившее в Германии в тылу и на фронте, предвещало катастрофу; если-же, наоборот, он ненавидел французский империализм и желал ему поражения, то все, касавшееся Германии, рисовалось ему в розовом свете. Таково было отношение в кругах и не обывательских, способных и обязанных быть об‘ективными. В той-же самой суб‘ективности пришлось убедиться и по отношению чисто количественной, численной оценки явлений. Если о спартаковской манифестации говорил независимец, то число принявших в ней участие значительно отличалось от количества, на которое указывали сами спартаковцы, и наоборот. Соответственно окрашивались и попадавшие в прессу отчеты. С развитием войны я стала относиться к ним критически и печатала уже с большим разбором присылавшиеся нам доклады или статьи. Не менее любопытным было для меня то обстоятельство, что все, не исключая и некоторых марксистов, заражались, на мой взгляд, несколько обывательской привычкой предсказывать развитие военных событий и их результаты. Когда-же оказывалось, что факт, послуживший основанием предсказаниям, был не таким, каким его изложила пресса, или что за ним последовал другой, предсказание наскоро бралось обратно „в виду непредвиденности“ случившегося,

Суть в том, что большинство людей пассуют перед жизнью, сами того не замечая, а главное не признаваясь в этом. И когда жизнь торжествует над их предсказаниями, опровергая их, громадное большинство людей довольствуется этим результатом и его об‘яснением потому, что они пропитаны покорностью, социальной и психологической одни, только психологической—другие. Линия наименьшего сопротивления торжествует во всех областях человеческого действия и мышления, как и в природе вообще. Во время войны, под влиянием

общего гипноза, необходимости жить сегодняшним, одним лишь сегодняшним днем, этот уклон принял особенно яркий, я бы сказала, трагический, унизительный характер, уменьшило в людях чувство ответственности. Следствием этого является и то беззастенчивое отношение к правде, к фактам, к их оценке, к клевете, инсинуациям, искажению самых очевидных событий, которое, являясь одной из характерных сторон военного времени, и до сих пор еще, увы, не вышло из обихода. Совершенно исчезло соображение о контроле печати, общественного мнения, инстинктивное отвращение быть обличенным во лжи, в клевете—на один день хватало заряду, клевета распространялась там, где выгодно было ее распространять, а что будет завтра, не озабочивало никого. Часть тех, кто сегодня читал сенсацию, завтра—не будет читать ее опровержение, читающий немецкую прессу не сличит ее с французской, да и, наконец, он и не поверит ей. Как было по отношению к блокируемой России, так, увы, и в органах революционной прессы, во взаимном фракционном уничтожении. Плачевность результата выразилась в том, что как люди вообще, включая обывателя и широкие слои политически неорганизованных масс, перестали верить в то, что печатает большая пресса, не переставая ее читать, питаться ею, черпать из нее аргументы в беседах и спорах, так и громадное большинство рабочих перестало верить в добросовестность своих органов, не только рабочих вообще, но и своих собственных фракций и борется с противником средствами, в допустимость которых не верит. Мне кажется, что в такой ориентации, которая, несомненно, с развитием событий и, в частности, революционных, уступит место другому отношению, лежит большая опасность и опасность не только морального характера. Средства, которыми восходящий, освобождающийся от экономических пут, класс прокладывает себе дорогу, не являются случайными, а потому чем больше соответствия

между содержанием, целью стремлений рабочего класса, с одной стороны, и формами, в которые выливается сознание и борьба за эту цель, с другой,—тем мощнее, цельнее, революционнее становится размах движения.

И если осужденным на социальное исчезновение классам и партиям подобает,—являясь единственным условием продления их существования,—прибегать к средствам сомнительного и эфемерного свойства, то когда речь идет о делающемся путем собственной борьбы властелином мира классе, то и средства эфемерные, унаследованные от отмирающего класса, являются неприменимыми, вредными и в развитии революционного процесса, по мере его восхождения, отбрасываются, как ненужная, гнилая, смердящая рухлядь.

Не могу сказать, чтобы в докладах заграничных делегатов С. Р. и С. Д. было особенно много тенденциозности, но невольно вспоминается наивность, с которой воспринимались всякого рода доклады и как только с течением времени и накопившегося опыта отношение к ним, у меня, по крайней мере, изменялось. Однако, опыт показывает, что большинство людей требует от своих информаторов не столько об'ективной правды. сколько подтасовки в желаемом ими смысле. Быть может, более сознательные и учитывают каждый раз приблизительное количественное отношение между правдой и отклонением от нее, но с течением времени подтасовка делается уже настолько необходимой, естественной составной частью всего сказанного и воспринимаемого, что ее не отрицают, ее не стесняются, к ней привыкают.

После заслушания прервавших на два заседания нормальный ход конференции и несколько разрядивших ее атмосферу докладов о том, какое впечатление делегаты С. Р. и С. Д. вынесли из посещения союзнических стран,—предметом дебатов опять сделался вопрос о конкретном проявлении солидарности зап.-европейского пролетариата с русским. Предстояла

весьма трудная, сложная, ответственная работа: в соответствующей военному времени и положению отдельных воюющих стран форме надлежало призвать пролетариев всех стран к осуществлению брошенного Циммервальдом лозунга революционной борьбы за мир, революционного массового выступления на помощь революционной России. На фоне разыгравшихся в ней событий и настроений лозунг: „либо революция убьет войну, либо война убьет революцию",—принимал особенно рельефный характер пророчества. С тех пор, как Циммервальдская комиссия, в связи с русской революцией, была перенесена в Стокгольм, она в своих бюллетенях и воззваниях не переставала это подчеркивать. 3-ей Циммервальдской конференции, созванной в момент, когда империалистическая оргия, с одной стороны, полнейшее банкротство II Интернационала, с другой, проявлялись в самой яркой форме, надлежало осуществить этот лозунг, перейти от слов к делу. „Теперь или никогда"—прибавлял каждый. Всякий, кто не потерял веру в мощь и призвание рабочего класса к лозунгу „либо революция убьет войну, либо война—революцию", чувствовал, что конкретным приложением этого лозунга к жизни могло быть только революционное *выступление* западно-европейских масс против войны и на поддержку русской революции, которой с каждым днем угрожала все большая опасность быть заглушенной внутренней реакцией или международным империализмом. Ограничиться платоническим заявлением солидарности и пожеланий успеха по отношению к русским революционным массам, являлось-бы кричащей иронией, недостойной революционеров. Призвать к действию немедленно было тем более необходимо, что непосредственный опыт указывал на то, что созвать другое совещание во время войны было-бы невозможно: не было никаких шансов на то, что полицейские и технические затруднения уменьшатся с течением времени.

Но через сознание участников всех предшествовавших совещаний социалистов-интернационалистов разных стран, об'единившихся под флагом Циммервальда, красной нитью проходило следующее чрезвычайно важное соображение: необходимой предпосылкой всякого решения и действия является предварительное согласие на него *всех* примыкающих к Циммервальду организаций. Требование, вполне понятное и основательное само по себе, делалось еще более основательным и понятным при сложной обстановке, созданной войной, с другой стороны, как раз затруднения и осложнения, созданные войной, делали невозможным исполнение этого, по существу, элементарного условия. Таких заколдованных кругов империалистическая война, соединившая и вооружившая против пролетариата буржуазию и правительства всех стран создавала не мало. Желая друг другу военного, национального поражения, добиваясь его всеми силами, буржуазия всех стран придерживалась, однако, известных и внешних форм классовой солидарности, когда дело шло о подавлении единственного, настоящего врага—рабочего класса. Пока о мире беседовали более или менее искренние пацифисты или признавшие перемирие классов представители рабочих организаций, правительство и буржуазия охотно допускали их совещания и всячески облегчали их, будучи уверенными в том, что они будут блюсти национальные интересы. Но как только речь заходила о совещании тех, кому интернациональные интересы выше национальных, как только речь заходила о противоставлении интересов пролетариата интересам буржуазии, так немедленно инстинкт классового самосохранения брал верх над всем, и меры преследования, пресечения всякой международной пролетарской инициативы об'единяли „врагов", нисколько не стеснявшихся применением их идентичных мер.

Думать о созыве новой, более полной Циммервальдской конференции было-бы непростительно наивно. Нужно было,

как упомянуто выше, воспользоваться тем, что хотя некоторым Циммервальдцам удалось получить паспорт для проезда в Стокгольм, не было никакой надежды на то, что Циммервальдцы союзнических стран смогут также получить паспорт. Вот почему Циммервальдским совещаниям, предшествовавшим конференции, и самой конференции пришлось постановить, что принятые на ней решения являются обязательными и для тех партий, примыкающих к Циммервальдской комиссии, которым нельзя будет прислать делегатов на конференцию.

Решение это было крайне важное, ответственное, оно означало, некоторым образом, выход из заколдованного круга. До принятия этого решения всякое предложение конкретной формы борьбы с войной разбивалось о возражение, что применение его в одной только стране или в странах одной из воюющих коалиций создало-бы большие затруднения для той партии, которая бы вздумала их применять. Одностороннее выступление против войны могло быть на руку врагу, а это обстоятельство, сильно раздуваемое правительственными и шовинистическими органами, создавало крайне трудное положение. Вообще, во время войны и крайним партиям пришлось, увы, очень часто считаться с общественным мнением, чтобы не сказать, с предрассудками. Вытекало это у революционно-настроенного авангарда пролетариата не столько из боязни потерять популярность вообще, не столько из боязни оттолкнуть мелкобуржуазные элементы, сколько из вполне основательного опасения не быть понятым теми слоями пролетариата, которые еще не завоевали себе возможности мыслить самостоятельно и критически, которые еще не могут противопоставить собственного классового миропонимания тому, что во всех странах и всеми средствами старается ему привить буржуазно-милитаристическо-клерикальный строй. Во время войны неравенство соотношения между старающимися развить пролетарские массы силами, и теми, кто старается

углубить их социальную и духовную отсталость, проявилась еще ярче, чем в другие времена. На чьей стороне был перевес, об этом едва-ли приходится говорить, если принять во внимание, что в то время, как война мобилизовала все агитаторско-пропагандистские силы буржуазии и в невероятной мере умножила их, военная цензура, военное положение, тысячи других репрессий довели до минимума органы влияния революционных партий. Вообще-же постороннему не так легко провести границу между вульгарной, ничего общего с социализмом не имеющей погоней за популярностью и старанием не отталкивать те отсталые массы, привлечение которых к социализму является в неменьшей степени условием раскрепощения масс, чем осуществление социализма. Многочисленные разветвления органов, при помощи которых коалиция буржуазно-шовинистических интересов старалась создать соответствующее ее интересам настроение, разрослись в настоящий психологический террор, в своего рода гипноз.

Циммервальдское движение пошло против общественного мнения, царившего в самой пролетарской среде, постепенно завоевывая его, но трагедия II Интернационала в том и заключалась, что в решающий момент, когда индивидуальное выступление имеет громадное, самодавлеющее агитационное значение, „вожди" большинства партий не смогли, не захотели пойти против течения, преобладавшего среди самых масс, не захотели, не посмели сделаться выразителями его авангарда. Хотя с развитием военных событий массы и стали постепенно переходить на точку зрения классово-интернационалистическую, нет достаточного основания предположить, что они стояли на этой точке зрения в момент об'явления войны. Подсчету, особенно ретроспективному, такого рода массовые психологические явления не поддаются. Но революционным социал-демократам надо итти и против течения.

Циммервальдцы, будучи меньшинством не только в стране, но и в партиях, при каждом решении считались с тем, как оно использовано общими врагами. Стоило-бы немцам принять какое-либо решение, как на них, вместе с буржуазной прессой, обрушились-бы и социал-демократические органы большинства и профессиональных союзов, обвиняя их в подчинении национальных интересов фракционным, ставя им в пример Циммервальдцев других стран, яко-бы не поступавших так.

В упомянутый нами момент сознание необходимости выступления масс хоть где-нибудь настолько созрело, что решено было не считаться с обычными аргументами. С другой стороны, положение было настолько критическое, что все были уверены, что и не могущие принять участия в конференции партии не только поймут необходимость принять решение, но и подчинятся ему. Конференция постановила, что решения ее будут приведены в исполнение лишь после того, как они будут доведены до сведения отсутствовавших на конференции партий. Это постановление было тем более естественно и необходимо, что речь шла о всеобщей забастовке в интернациональном масштабе, условием успеха которой являлось единовременное выступление рабочих. Воззвание к пролетариям всего мира указывало на то, что безвыходное положение, в которое война поставила народы, и в частности пролетариат, требует массового революционного действия рабочих всех стран, но что не менее властно требует этого и угрожающая России реакция, удушение революции. „Империалистические правительства“, говорилось, между прочим, в воззвании, боятся, что придется вернуться с поля битвы, не достигнув никакого результата. Они боятся дня окончания войны, в который народы потребуют от них отчета... Тут же указывалось на то, что попытка „правительственных“ социалистов созвать конференцию потерпела окончательное поражение и говорилось: ...только пролетарские ма... всех

стран, оставшиеся верными социализму, могут положить конец братоубийственной войне... Дальше подчеркивалось, что изолированные выступления пролетарских масс отдельных стран не могут положить конец войне или оказать действенную помощь русскому революционному народу. Интернациональная пролетарская массовая борьба за мир означает в то же время и спасение русской революции. „Настал час борьбы пролетариев всех стран за мир"; „Да здравствует международная массовая борьба за мир". „Да здравствует социалистический мир".

По-истине торжественно было предложение старого борца Штатгагена назвать манифест:

„Призвание к борьбе за мир из Стокгольма"...

Пользовавшийся большой популярностью среди немецких рабочих, принадлежавший к левому крылу партии, отдавший всю свою жизнь и силы социалистическому движению, Штатгаген был окончательно психически и физически сражен войной. Недоедание, абсолютное отсутствие жиров вызвали в нем рецидив и обострение легочной болезни, которая развилась у него в тюрьмах во время и после исключительного закона против соц.-демократии; а нравственные переживания, вызванные войной, падением партии, банкротством Интернационала окончательно разбили его. Когда за несколько дней до конференции Штатгаген пришел ко мне на дом, я долго не могла узнать в дряхлом, его двигавшемся, исхудавшем старике жизнерадостного, подвижного борца, который поражал всех энергией, остроумием, живостью темперамента. Он отдавал себе отчет в том, что уж недолго проживет и со свойственным немецким социал-демократам того поколения сознанием революционного долга, дотащился до Стокгольма, чтоб до конца остаться верным революционному рабочему движению, верным самому себе, принимая участие в совещании, которое стремилось положить конец уничтожению народных масс и поднять престиж международного рабочего движения.

Тяжело было следить, как физически крайне слабый Штатгаген с трудом боролся с усталостью, очень часто засыпал во время дебатов и длинных речей, как он вдруг встряхивался, глаза его начинали блестеть и он весь сосредоточивался на происходившем вокруг него, пока новый припадок физической слабости не побеждал его психической бодрости. В один из таких моментов глаза его особенно оживились, вся фигура приняла осанку прежнего борца, голос его напомнил голос молодого трибуна, тон и изящество выражений напомнили блестящего адвоката, каким он был в прошлом.

„Товарищи“, — сказал он просто, мягко, торжественно, — „народы всех стран с упованием глядели на Стокгольм; вот-вот, думалось им, оттуда раздастся клич в пользу мира, освобождения человечества. Социалисты большинства не оправдали возложенных на них надежд. Пусть-же этот великий, святой долг будет исполнен нами, меньшинством, Циммервальдцами. Пусть измученные, обескровленные рабочие всего мира узнают, что социализм не умер. Товарищи, назовем наше воззвание „мировым воззванием из Стокгольма“. Пусть рабочие узнают, что единственный клич об'единения народов брошен нами, Циммервальдцами“...

Это предсмертное желание Штатгагена (он умер вскоре после возвращения из Стокгольма) не встретило никаких возражений; по существу оно соответствовало настроению всех участников конференции.

Столь-же цельным воплощением теоретически-политического кредо и, я бы сказала, этического облика германского социал-демократического движения доброго старого времени являлся и Г. Ледебур. Как раз во время войны, по случаю нескольких Циммервальдских конференций и совещаний я имела возможность ближе познакомиться с его необыкновенно живым, горячим, порою порывистым темпераментом, проявляющимся особенно ярко, когда Ледебур выступает на защиту

основных принципов социализма и традиций германской социал-демократии против нападений врага или ревизионистских стремлений своих-же товарищей. Мне кажется, что поразительная духовная молодость годами давно уже немолодого Ледебура тем и об'ясняется, что он сохранил и старался сохранить социализм, каким он его восприял, выработал и применил в жизни в молодые, решающие годы. Чем старее поколение социалистов, тем ближе оно к той эпохе, когда революционное миросозерцание черпалось не из всех понятных массовых социальных проявлений, не из периодической прессы, и не прививалось благодаря широкой пропаганде, а главным образом добывалось путем личного протеста против социального неравенства, против лицемерия и лжи, путем внутренней, постоянной работы над самим собой.

Точно также теоретические знания тогда добывались из первоисточников; усваивание их стоило много больших усилий, чем когда они стали распространяться путем популяризации печатной и устной. Все это естественно накладывает известный отпечаток и на миросозерцание и на носителей его, делает их отчасти консервативным, психически и политически с трудом приноравливающимся к новым формам борьбы, вытекающим из изменившихся социальных условий.

Одним из важнейших условий принятия конференцией какого-бы то ни было решения была строжайшая конспиративность. Преждевременное обнародование таковых не могло-бы не повлечь за собою самых сильных репрессий, которые лишили бы возможности провести их. По предложению немецких товарищей мне было поручено строжайшим образом следить за тем, чтобы ни один экземпляр воззвания конференции не был увезен делегатами через границу, в виду решения обнародовать его лишь после того, как оно будет принято отсутствовавшими на конференции партиями. Способ оповещения этих партий предоставлялся Циммервальдской комиссии,

характер его должен был быть строго конспиративен и доставлено оно должно было быть партиям союзнических стран возможно скорее.

К редакционной комиссии, которой конференция поручила сделать набросок воззвания, было приставлено два немецких адвоката, дабы в форме изложения воззвания не было бы ничего такого, что могло бы повлечь за собою коллективные аресты и применение военных законов к его распространителям. Как всегда бывает в таких случаях, комиссия, состоявшая в начале из одного или двух представителей всех представляющих партий все более суживалась по мере того, как оставалось выработать некоторые детали, оттенки. Под конец, после многочисленных обсуждений пленумом конференции текста воззвания, его окончательная редакция была возложена на Ледебура, Радека и на пишущую эти строки, а затем окончательная формулировка и шлифовка—на Ледебура и пишущую эти строки.

Положение было крайне ответственное: дело шло о первом призыве к массовому выступлению рабочих всех стран, к всеобщей забастовке. Текст его был принят, после упомянутых изменений, оттенков и формы, единогласно. Делегация меньшевиков еще раньше покинула конференцию, а из остальных участников конференции один только Гаазе оговорил свое голосование несколькими возражениями, но все-же он голосовал за воззвание. Понять единогласность призыва масс к международному революционному выступлению в тот момент можно лишь, если принять во внимание тогдашнее положение революционной России и ответственность, лежавшую на социалистических партиях всех стран за их отношение к войне и революции. Циммервальд, т.-е. меньшинство этих партий, решил дилемму „либо война убьет революцию, либо революция войну“ таким образом, что принял все меры к тому, чтоб оправдалась вторая часть дилеммы.

Установить в точности, насколько воззвание циммервальдской конференции соответствовало стремлению западно-европейских масс к скорейшему окончанию войны трудно, если не невозможно, тем более, что разразившиеся вскоре после конференции в России события отвлекли внимание всего мира и послужили толчком к революционизированию масс; но нет сомнения, что воззвание последней Циммервальдской конференции, брошенный ею лозунг всеобщей забастовки имел влияние на события в Германии и в Австрии, в Италии и, частично, и во Франции и Англии. При учете результатов подобного рода воззваний в подобное время не нужно упускать из виду цензурных преград, отделявших страны, вследствие которых и крупные события скрывались от общественного мнения и тем менее проникали в прессу. А затем, не следует забывать того крайне важного в психологическом отношении обстоятельства, что в моменты оторванности пролетариата от своих организаций и органов, даже от своего класса, на фоне общей растерянности воззвание к массовому выступлению может иметь особенно сильное, выливающееся в форму непосредственного действия влияние. Из искры разгорелось пламя...

## После конференции.

На следующий день после того, как раз'ехались делегаты, ко мне в условленный час пришел Штатгаген; мы с ним условились, что он им лично составленным стенографическим методом напишет на манжетах текст выработанного конференцией манифеста и таким образом провезет его в Германию, с тем, чтобы начать распространять его, как только получит от меня условленное оповещение, что партии союзнических стран присоединились к воззванию и что всеобщая забастовка будет проведена и в союзнических странах.

На долю Циммервальдской Комиссии и, в частности, на меня, ее секретаря, выпала крайне ответственная, трудная роль. Многое зависело от того, с какой быстротой и конспиративностью Циммервальдской комиссии удастся послать своего человека в союзнические страны для оповещения тамошних Циммервальдцев о принятом решении для сообщения его точного текста. О том, чтобы послать что бы то ни было по почте не могло быть и речи; исключалась и возможность поездки какого-нибудь мало-мальски известного политического деятеля. Предстояло „создать" не только достойного во всех отношениях доверия, но и дающего достаточно гарантий в абсолютной конспиративности, обладающего известной ловкостью и знанием языков ходока. Манифест приходилось заучивать наизусть, ни одна бумажка не пропускалась через границу. Благодаря инициативе тов. Хеглунда, члена Циммервальдской комиссии, удалось разрешить столь трудную задачу—найти юного датского товарища, преданного и серьез-

ного, имевшего возможность проехать в Англию с какой-то комиссией. Он несколько раз приезжал ко мне в Стокгольм и мы целыми часами упражнялись с ним в мнемотехнике: он учил наизусть не только манифест, состав конференции, отдельные эпизоды, долженствующие осветить всю картину Циммервальдского совещания пред отсутствовавшими на нем английскими и французскими делегатами, не только имена, адреса, клички, но и идейные лозунги, запасные адреса и имена на случай, если бы память ему изменила. Приходилось считаться и с тем, что поездка может затянуться по разным причинам. Но и при самых благоприятных условиях нельзя было рассчитывать на немедленное исполнение нашего поручения и извещения о нем. Являвшаяся как-бы технической роль С. К. в данном случае была очень сложной и политически с каждым днем становилась труднее и ответственнее. Мы, стоявшие во главе Циммервальдской комиссии, находились меж двух огней. С тех пор, как решение о всеобщей забастовке было принято, делегаты русских партий, в особенности, большевиков, торопили нас, настаивали на опубликовании воззвания, а немецкие товарищи, в особенности независимцы правого крыла, производили давление в обратном направлении. Исходя из соображения, что призыв к всеобщей забастовке в странах одной только коалиции неминуемо вызовет самые дикие репрессалии и кончится разгромом пролетарских организаций, независимцы настаивали на необходимости ждать присоединения Циммервальдцев западно-европейских стран.

Самой-же комиссии путь был намечен решением Циммервальдской конференции—ждать с опубликованием манифеста присоединения к нему Циммервальдцев, отсутствовавших на конференции. Мы, конечно, считали своим долгом исполнить постановление конференции, но не скрывали от себя и опасности создавшегося положения: выступление пролетариата

являлось все более и более неотложной необходимостью, события разгорались и на театре войны, и в России. Ведь события могли разыграться и в таком направлении, и в таком темпе, в особенности в России, когда и воззвание могло явиться запоздалым, излишним...

Помнится несколько по-истине трагических переживаний... В начале октября заграничная делегация Р. С.-Д. Р. П. (большев.) в Стокгольме: Воровской, Радек, Ганецкий—ежедневно, можно сказать ежечасно, требовала от меня оффициально,—в письменной форме, по телефону,—обнародования манифеста. Наконец, я получила заявление за подписью Радека, что если Циммервальдская Комиссия будет медлить с обнародованием, заграничная делегация Р. С.-Д. Р. П. сама обнародует его. Циммервальдская комиссия ответила ссылкой на постановление конференции и прибавила, что, понимая вполне сложность и опасность создающегося положения и серьезность русских событий, примет все меры к скорейшему обнародованию манифеста.

На следующее утро получаю телеграмму от весьма видного члена Ц. К. германских независимцев Луизы Циц о приезде ее в Стокгольм. Не подлежало сомнению, что случилось нечто весьма серьезное. Я сейчас-же созвала Циммервальдскую Комиссию и находившихся в Стокгольме представителей Циммервальдских партий, заграничную делегацию Р. С.-Д. Р. П. и финской партии. На этом заседании, если память мне не изменяет, присутствовали и тов. Ерманский и Раковский. В виду восстания в немецком флоте, вызвавшего репрессии и расстрел главного „виновника", повальные обыски и аресты деятелей политического и профессионального движения, в виду легко предстоявшего разгрома пролетарских организаций, Ц. К. независимцев, за исключением Ледебура, просил подождать с обнародованием манифеста до получения на это согласия из Германии даже в случае получения согла-

сия на его обнародование от Циммервальдцев союзнических стран... Трудно себе представить нечто, более драматическое, чем прения по этому поводу сторонников обоих, противоречащих друг другу течений. Чем больше делегатка независимцев, взволнованно рисуя мрачную картину репрессий и угрожавший уцелевшим от войны организациям разгром, требовала отсрочки печатания манифеста, тем более определенно и резко Радек требовал его немедленного обнародования независимо от событий в Германии, не дожидаясь возвращения посланного в союзнические страны товарища. Последнее слово было, как обычно, за Циммервальдской комиссией. Обе стороны ждали его с напряженным нетерпением в воинственном в отношении к Ц. К. настроении.

О том, чтобы и после возвращения „ходока" отложить обнародование призыва к забастовке, не может быть и речи,— сказала я,—как-бы критически не было положение в Германии и как-бы ни была серьезна ответственность немецких циммервальдцев, интересы революционной России не могут, не должны быть подчинены никакого рода соображениям. А что касается немедленного опубликования воззвания, требуемого делегатами Р. С.-Д. Р. П. (больш.), то на это Циммервальдская комиссия, связанная постановлением Циммервальдской конференции, не имеет права.

От'езд Луизы Циц прошел при особенно тяжелых условиях: провожая ее на вокзал, я чувствовала, что она уезжает разочарованной, разбитой, озабоченной, встревоженной, увозя с собою сознание, что она не добилась того, зачем ехала. Тяжело было видеть эту больную, поседевшую в борьбе за освобождение рабочего класса женщину, сокрушенную заботами о нем, о его будущем... Я чувствовала, что у нее ко мне, с которой в прошлом были если не дружеские, то во всяком случае товарищеские, хорошие отношения, развивалось нечто вроде неприязни, так как во мне она натолкнулась на непри-

миримость там, где ей хотелось, где она надеялась переубедить. Между нами наступило то тяжелое молчание, которое неминуемо наступает, когда между товарищами обнаруживаются разногласия партийного характера.

## Циммервальдское движение и Октябрьская революция.

Как почти всегда в подобных случаях, сама жизнь положила конец казавшемуся безвыходному положению.

Дни, предшествовавшие захвату власти в России, были для нас, находившихся заграницей русских революционеров, днями глубокого внутреннего волнения и нервного напряжения в частности и вследствие плохой и весьма противоречивой информации. Приходилось догадываться, восстанавливать общую картину на основании сведений, получавшихся в редакциях буржуазных газет, из разных телеграфных агентств и от частных корреспондентов.

Помню, однажды при входе в кафэ, на нас набросилась целая стая мальчиков—продавцов газет, с необыкновенным даже для них азартом что-то выкрикивавших. Оказалось „Поражение итальянских войск в Капоретто", а не те известия, которых ждали из России. В той же газете имелись сведения и о революционном брожении среди рабочих масс и во флоте нескольких западно-европейских стран. Хотя сведения эти казались мне не особенно достоверными и во всяком случае несколько преувеличенными, но однако, в одновременности событий на Западе и в России, несмотря на их разнородность, для меня было нечто глубоко символическое. Начало конца, думалось мне, начало конца войны, начало солидарного выступления народов, начало мирового социального пожара. Из искры разгорается пламя—прилетит ли искра с востока на запад или с запада на восток—пока неизвестно,

но что-то великое свершится, долгожданное, неотвратимое, несокрушимое. Возвращаясь домой, я с трепетом прислушивалась к каждому шороху, нарушавшему абсолютную тишину серой, туманной осенней ночи. Вот — вот казалось, должна раздаться весть из освобожденного Петербурга.

А если нет—если не победа, а поражение, что тогда?

Когда в 4 часа утра Радек сообщил мне по телефону весть об окончательной победе, я почувствовала себя, как человек, долгие ночи проведший у изголовья больного, или корчившейся от болей родильницы—кризис окончился победой организма, новая жизнь началась...

Естественно, у меня наряду с чувством глубокого облегчения и обновления на фоне той же тревоги и того же торжественного настроения явилась мысль о том, что можно, что должно сделать, чтобы помочь борцам за великое общее дело. Вопрос о международной солидарности пролетариата делался вопросом непосредственного неотложного осуществления, между тем как условия были самые неблагоприятные.

Не трудно было предвидеть, что правительство и буржуазия всех стран не остановятся ни перед какой мерой, ни перед каким извращением, чтобы оградить западно-европейские народы от борющейся революционной России, представить им русские события в искаженном виде. Таким образом буржуазия добивалась бы двух целей: нанесения всяческого вреда революционной России и изолирования русских масс от западно-европейских и западно-европейских от русских. Военные условия, в которых находилась большая часть Европы, могли облегчить задачу правительств и придать изоляции России громадные размеры.

Всему этому следовало помешать, и роль эту на себя должно было взять по мере возможности Циммервальдское движение. Оно являлось единственным революционным звеном международных масс, и Россия являлась первой (в то время

не было основания считать ее единственной) страной, в которой был осуществлен Циммервальдский лозунг „война войне“. Циммервальд должен был выступить не медля, и всегласно проявить солидарность всех трудящихся с борцами русской пролетарской революции, дабы и русские рабочие и крестьяне и солдаты знали, что они не одни и дабы об этом получили конкретное представление и враги рабочих масс всего мира. Самой яркой формой проявления солидарности являлось для меня напечатанное воззвание к всеобщей забастовке, выработанное Циммервальдской Конференцией, обнародование которого было отложено в виду упомянутых раньше обстоятельств и уговоров.

Для меня не было ни малейшего сомнения насчет того, что эти самые обстоятельства и уговоры, считаться с которыми являлось нравственной и политической обязанностью, не могли быть принимаемы в соображение в столь решающий исторический момент.

Я отдавала себе отчет в том, что обнародование воззвания без предварительного оповещения всех партий не может не вызвать неудовольствия и протеста со стороны отдельных партий, групп, лиц, я знала, что ответственность падет главным образом на меня, я знала, что, выбрав меня оффициально секретарем Циммервальдской Комиссии, товарищи, в особенности немецкие, наряду с общим политическим доверием, хотели выразить и подчеркнуть и чисто личное, т.-е. уверенность в том добросовестном отношении и к чисто формальным вопросам, без каковых немыслимо руководство движением, об'единяющим разные организации—в особенности в тяжелое время нелегального существования партии. Все это, однако, не поколебало принятого мною решения рано утром созвать Циммервальдскую Комиссию, предложить ей немедленное обнародование манифеста о всеобщей забастовке и тут же перейти к решительному выполнению этого решения. Сомнений

в том, что мои товарищи по Циммервальдской Комиссии примут мое предложение, у меня не было и быть не могло. Когда в то же время Радек от имени заграничной делегации Ц. К. Р. С.-Д. Р. П. (больш.) предложил Циммервальдской Комиссии поставить подпись под приветственной телеграммой - воззванием, посылаемой товарищами большевиками в Петербург, мы не только тут же на это согласились, но и отдавали себе отчет в том, что этого присоединения далеко недостаточно и что в то самое время, когда до европейских народов доносятся сведения о громадных революционных событиях в России, до них должна донестись весть и клич о международной забастовке против войны и для поддержки русской революции.

Как и нужно было ожидать, все члены Комиссии согласились на мое предложение немедленно предать гласности манифест третьей Циммервальдской Конференции. Мы немедленно решили выпустить специальный номер лево-социалистического органа „Политикен“, посвятив его манифесту и русским событиям; тут же мы созвали совещание всех делегатов Циммервальдской Комиссии и видных Циммервальдцев, находившихся в Стокгольме, с тем, чтобы подвергнуть принятое нами решение их ратификации. Совещание было не многолюдное, кроме представителей России, Циммервальдской Комиссии и Финляндии, в нем принял участие и Х. Г. Раковский. Его присутствие врезалось мне в память, ибо он был единственным, возражавшим против принятого нами решения. Он придерживался мнения, что Циммервальдская Комиссия не должна солидаризироваться с русскими событиями, пока не выяснится отношение к ним небольшевистских фракций русского социализма и социалистов других стран. Мы отстаивали неприемлемость этой точки зрения, события были настолько решающими и важными, что ожидать дальнейшего развития было невозможно, тем более, что соотношение сил

было недостаточно известно, больших шансов на успех пролетарской революции не предвиделось и солидарность по отношению к могущим быть побежденным рабочим и крестьянским массам являлась мне более естественной и настоятельной, чем если бы победа была уже налицо. Раковский остался в меньшинстве, и мы тотчас же после заседания взялись за редактирование специального номера „Политикен“; в то время, как каждый из нас писал по статье, в соседней комнате несколько журналистов переводили на разные языки манифест-воззвание, которое тут же по телеграфу должно было быть передано в разные страны и служить как бы западноевропейским откликом на русские события. Помню, мы проработали всю ночь и рано утром я прямо из секретариата Шведской партии отправилась в типографию „Политикен“, чтобы лишний раз просмотреть весь материал и убедиться в том, как он будет распределен на различных страницах газеты.

К 10 часам у нас было назначено экстренное заседание Комиссии. В промежутке между ночным заседанием и утренним я пережила весьма гнусную, но очень характерную для тогдашних времен и для положения, в котором находились во время войны руководители революционного движения, сцену, о которой до сих пор не могу вспомнить без физического отвращения. Каждый раз, когда она возобновляется в моей памяти, я переживаю острое чувство брезгливости. В тот самый момент, когда я уже дошла до дверей, чтобы итти на упомянутое заседание, ко мне пришел суб'ект довольно вульгарной наружности, сразу поразивший меня своей бесцеремонностью. Сунув мне визитную карточку, он отрекомендовался американским журналистом, на что я, стоя на пороге и не прося его войти, об'явила, что никаких интервью давать не намерена. Несмотря на мое категорическое заявление, неприглашенный и нежеланный гость самым бесцеремон-

ным образом вошел в мой кабинет и уселся у рабочего стола.

— Какие у вас имеются сведения о событиях в России? Вы наверно получаете телеграммы оттуда?

— А если бы и так, — прервала я его, — что дает вам основание думать, что я намерена делиться с вами этими известиями?

— Кто является тут представителем С.-Р. и С.-Д.? — спросил он меня, нисколько не смущаясь резкостью моего тона.

— О каком Совете вы говорите? — спросила я его в свою очередь, — о том, каким он был до революционных событий последних дней или после?

— Какие революционные события, — прервал он меня, — нет никаких революционных событий—это только в Петрограде бунтуют, а вся Россия настроена против бунтовщиков. Я только что видел телеграммы в одной союзнической миссии.

Сообщение о том, что и так уже изрядно надоевший мне суб'ект имеет касательство к оффициальным дипломатическим кругам, окончательно вывело меня из терпения.

— Я вообще не понимаю, чего вы от меня хотите. Я не привыкла общаться с людьми, вращающимися в посольствах и миссиях. Избавьте меня от вашего присутствия. Вы видите, я готова к выходу, мне очень некогда.

— Жаль, сказал он мне,—заискивающе-нахальной улыбкой,—жаль, а мы, в Америке, готовы бы дать десять тысяч долларов на Циммервальдскую Комиссию.

Упоминание о долларах так возмутило меня, вся гнусность побуждений и целей, которые привели ко мне суб'екта, с быстротой молнии осенила меня, и я, нисколько уже не сдерживаясь, шумно начала гнать его вон,—и голосом и руганью и жестами. В обычное время в моем лексиконе не имеется запаса ругательных слов, насколько я себя помню, тогда они в первый и единственный раз понадобились мне, но реакция

на неслыханное нахальство была настолько велика, что в моем распоряжении появился вдруг целый арсенал соответствующих выражений на английском языке.

— Вы подлец, нахал, убирайтесь моментально, не то я спущу вас с лестницы. Научу вас, как подкупать социалистов. Убирайтесь!

Он, точно ужаленный, как побитая собака, прижимаясь к стенке, начал отступать от стола к дверям. Понадобившийся ему для выхода из кабинета и передней момент показался мне целым часом, так гадливо было зрелище этого пресмыкающегося существа. Не успела я еще об'яснить испугавшимся моего крика хозяевам причины необыкновенной сцены, как суб'ект с такой же слащаво-приниженной улыбкой опять стоял у дверей. Он пришел за забытыми им галошами...

Описанный мною гнусный эпизод явился не последним в ряде попыток добиться чего-либо от меня, или покончить со мной, участившихся после захвата власти русскими массами. Особенно изощрялась на этом поприще так-называемая „антибольшевистская Лига"—шайка развратных существ, моральных и физических дегенератов, поставивших своею целью истребление русских большевиков и близких к ним лиц и, главным образом, вымогательство предполагавшихся у них денег, путем заманивания за город и зверских истязаний. Жертвой этих обнаружившихся во всей их наглости на Стокгольмском суде попыток пало несколько лиц, стоявших в торговых сношениях с Советской миссией в Стокгольме. Впоследствии обнаружилось, что я являлась одним из первых кандидатов на расправу. Так, на суде выяснилось, что молодая женщина, неоднократно являвшаяся ко мне для предложения своих услуг в качестве секретаря и выдававшая себя за вдову павшего на красном фронте офицера, была подсылаема ко мне в качестве провокатора и вместе с тем для того, чтобы и физически „истребить" меня. В то время, август—сентябрь

1918 года, — я наряду с обязанностями секретаря Циммервальда заменяла неоффициально и В. В. Воровского, долго отсутствовавшего из Стокгольма, в виду участия в русско-финской мирной конференции. За это время мне приходилось войти в сношения с очень многими лицами, среди которых оказалось немало авантюристов, надеявшихся на легкую наживу, но должна сказать, что инстинкт и известного рода ригоризм—моральный и политический,—от которого я никогда не считала ни возможным и ни целесообразном отступать, не дал мне совершить ни одной более или менее крупной ошибки, т.-е. психологического промаха.

Однако, упомянутая мною женщина не возбудила во мне ни подозрения, ни неприязни; напротив, она показалась мне не лишенной способности сделаться сознательным и полезным человеком. Об'яснив ей, что о работе лично у меня не могло быть речи, так как я никогда не прибегала ни к чьей помощи, я советовала ей учиться, прибавив, что представительство трудящейся России не откажет ей в соответствующей материальной помощи. Не помню, воспользовалась ли она моим предложением, помню только, что она еще несколько раз заходила ко мне в Циммервальдскую Комиссию и всегда в обеденный час, когда расчитывала застать меня одну.

Во время того же судебного разбирательства выяснилось, что в тот же период времени, т.-е. в конце сентября 1918 г., несколько дней спустя после моего от'езда из Швеции, в окно комнаты, в которой я спала и которая непосредственно примыкала к рабочему кабинету, был брошен камень больших размеров. Почти одновременно с посещением упомянутой дамы, в доме, где я жила, поселился суб'ект, который, будучи принят мною более чем холодно, ввиду его вульгарного авантюристического вида, пытался добиться „сближения“ со мной другим келейным путем. Он усердно расспрашивал мою квартирную хозяйку о моем образе жизни, привычках

и о том, не захочу ли я познакомиться „домами“ с земляками...

К тому времени мое желание хотя бы на время с'ездить в Россию, потребность окунуться в тамошнюю обстановку для того, чтобы с удвоенной энергией продолжать работу ознакомления с ней западно-европейских партий были во мне так сильны, что взяли перевес и над сознанием важности работы в Западной Европе и над увещеванием шведских товарищей, сочленов по комиссии, имевших основание бояться, что вернуться в Швецию мне удастся не так скоро.

Должна заметить, что в описываемое мною время,—точнее, после октябрьской революции,—деятельность Циммервальдской Комиссии заключалась главным образом в ознакомлении европейского пролетариата с событиями в России. Октябрьская революция и вызванный ею поворот в развитии военных событий, с одной стороны, и брожение в массах на Западе, с другой, вызвали увеличение бдительности цензуры и всякого рода черных кабинетов, не говоря уже об усилении мер против перехода границ революционерами. Правительства и буржуазия всех стран, со все разроставшимся рвением преследовали эту цель изоляции народных масс Запада от влияния России и исходившей от нее заразы. Нужно было всеми силами добиться изоляции борющейся России от народов других стран и добиться этого казалось всего легче путем распространения клеветы и сенсационных новостей о России. Пролетариат Западной Европы должен был, таким образом, получить извращенное представление о Русской Республике, а русский народ должен был получить ложное представление об отношении к нему и его тяжелой борьбе западно-европейских братьев. Так подготовлялась психологическая возможность бойкота, блокады и вооруженных нападений на Советскую Россию. Социалисты отдельных стран, настолько разбиравшиеся в русских событиях, чтобы быть в состоянии отделить правду или прибли-

зительную правду от искажений и демагогических приемов,— а таких было, кстати сказать, не очень-то много,—не имели возможности противоставлять утверждениям буржуазной прессы конкректные факты. Из России непосредственно вести ни по телеграфу, ни по почте не приходили, и Швеция,—в которой некоторое время существовало пароходное сообщение с Россией и куда до финского белого террора можно было пробираться через Финляндию,—составляла исключение. Мы получали газеты, — хотя и неаккуратно, — и телеграфные известия из пограничной агентуры.

Естественно, что все это вменяло нам в обязанность особенно интенсивно работать над восстановлением хотя бы только психологических сношений между русскими и западно-европейскими массами.

Таким образом роль Циммервальдской Комиссии в третий и последний период ее существования была в известной и довольно значительной степени информационной. В первый период (от основания Циммервальдского движения до февральской революции) Циммервальдская Комиссия выпустила 6 бюллетеней, содержавших программные и полемические статьи, отчеты партийных конференций, резолюции, постановления, корреспонденции из разных стран. В течение второго периода (с момента перенесения комиссии в Стокгольм до Октябрьской революции) бюллетени, выходившие гораздо чаще и в гектографированном виде, были посвящены главным образом полемике по поводу созывавшейся Стокгольмской Конференции и подготовления третьей Циммервальдской Конференции, в то время, как в третий период от Октябрьской революции до конца 1918 года, когда Циммервальдская Комиссия перестала фактически существовать, хотя „юридически“ еще существовала, центр тяжести ее деятельности лежал в освещении русской революционной действительности, в обращении к западно-европейскому пролетариату с призывом

проявить должное ее понимание и действенную с ней солидарность.

В период, предшествовавший Октябрьской революции и в первые месяцы после ее победы, роль информаторски-полемического органа исполнял „Вестник Революции“, издававшийся на немецком языке в Стокгольме заграничной делегацией Ц. К. Р. С.-Д. Р. П. (больш.) и, в частности, Радеком, который исполнял свою работу с неутомимостью и большим революционно-полемическим пафосом. Можно сказать, что в то время „Вестник Революции“ и Циммервальдские бюллетени, содержавшие статьи на трех,—шведском, немецком, французском, — языках, а после и на четырех, являлись единственным источником, из которого пролетарская и социалистическая пресса могли черпать сведения о России.

Перед своим от‘ездом из Стокгольма Радек, поддерживаемый и другими членами заграничной делегации Ц. К. Р. С.-Д. Р. П. (больш.) предложил нам слить редактировавшийся мной бюллетень Циммервальдской Комиссии с уже упомянутым, выходившим под редакцией Радека, „Вестником Революции“. На это мы согласиться не могли, так как орган Интернациональной Комиссии органом одной фракции или партии сделаться не мог. Однако, с прекращением выхода „Вестника Революции“, наш бюллетень стал уделять еще больше внимания событиям в России, расширил формат и стал, поскольку это позволяли скудные средства нашей организации, выходить иногда в печатном виде. С течением времени мы стали выпускать его периодически, еженедельно; специальные номера с воззваниями на нескольких языках были выпущены нами по поводу революции в Финляндии, по поводу воцарившегося там белого террора, с протестом против оказываемой германским империализмом помощи финским белогвардейцам; специальные номера бюллетеня были посвящены также разоблачению попыток военной интервенции

в России, обнародованию воззваний и резолюций, принятых по этому поводу в России и в других странах и призыву рабочего класса на борьбу с этой попыткой. На Брест-Литовский мир и все важные события тогдашнего времени Циммервальдская Комиссия отзывалась воззваниями, статьями, распространением получавшихся ею из разных стран статей, отчетов и всякого рода матерьяла. Последний № „Бюллетеня Циммервальдской Комиссии“ вышел накануне моего от‘езда из Швеции.

Важнейший матерьял тут же перепечатывался шведским лево-социал. органом „Политикен“, оказавшим Циммервальдскому движению и революционной России в самые для нее тяжелые моменты неоценимые услуги. Туда, куда по цензурным причинам наши бюллетени доходить не могли, доходили газетные сообщения. В виду того, что „Политикен“ всецело стоял в нашем распоряжении и редактор его, Хöглунд,— выдающийся полемист и прекрасный журналист—ярый Циммервальдец, был сочленом нашей комиссии, то Стокгольм скоро сделался центром полемики противников и защитников II Интернационала, центром горячей полемики за и против Советской России,—так как редактировавшийся тогда Брантингом „Социал-Демократен“ являлся ярым защитником платформы II Интернационала и столь же ярым противникам и и порицателем Октябрьской революции и Советского правительства.

Борьба двух органов социалистического течения принимала весьма острые формы и отражала, тогда еще не проявлявшуюся, внешне-внутренюю, латентную борьбу двух направлений, двух течений международного рабочего движения.

---

## Из Швеции в Швейцарию.

Давно откладывавшаяся мною поездка в Россию имела, как я уже упоминала, целью лишь более близкое непосредственное соприкосновение с некоторыми оттенками тогдашней русской действительности и обмен мнений кое с кем из товарищей, исполнявших особенно ответственную работу. Я ощущала потребность в этом контакте, чтобы с надлежащей добросовестностью продолжать свою информационно-организационную работу. Я собиралась очень скоро к ней вернуться, пробыв в России лишь короткое время; я намеревалась на пару дней отправиться в Германию и в Швейцарию, а оттуда в Стокгольм, для продолжения деятельности в Циммервальдской конференции.

Дни, предшествовавшие моему от'езду из Стокгольма, были особенно тревожными, покушение на жизнь Владимира Ильича, опасение за его последствия, внесли какую-то новую струю в мою внутреннюю и внешнюю жизнь. Я чрезвычайно рельефно осознала тогда, какие и сколько разносторонних тонких пут связывают нас с теми, кто особенно ярко осуществляет и воплощает идеал, к которому мы стремимся. В дни и ночи, последовавшие за покушением, я беспощадно анализировала это чувство, докапывалась ответа на вопрос и поняла, почему и для людей, привыкших концентрировать все свои стремления на одном, общем, коллективном деле, умеющих подчиняться ему и подчинять ему все остальное, отдающих себе отчет в второстепенности роли „личности в истории“, почему как раз такого рода людям один человек, один борец, может сделаться бесконечно дорогим и незаменимым, и почему

с тревогой за его жизнь может вызываться и сливаться и тревога за общее святое дело.

Едва дождавшись возвращения В. В. Воровского, я вместе с приехавшим по делу в Скандинавию Л. М. Михайловым и левым социалистом, сочленом по Циммервальдской Комиссии революционным поэтом Нерманом на пароходе отправилась в Петербург.

И от'езд из Стокгольма, и поездка были для меня процессом глубоких переживаний... Очень часто во время моей политической деятельности в Западной Европе меня при от'езде провожали толпы товарищей и рабочих, часто после митингов большая часть аудитории сопровождала меня со знаменами, музыкой, революционными песнями, много незабвенного, неизгладимого говорилось и переживалось в те минуты. Однако, проводы из Стокгольма были по иному торжественными. То были отдельные товарищи, члены немногочисленной семьи, которым хотелось в последний момент своим присутствием, словом, тоном, мною подобранным цветком, подчеркнуть перед самим собой солидарность и привязанность, создавшуюся на почве совместной работы в тяжелое, трудное время над общим делом. А дело было общее не только потому, что мы все в одинаковой степени стремились к его осуществлению, но и потому, что ежедневная, ежечасная защита Циммервальдского движения—того немногого из пролетарского революционного движения, что уцелело после самоубийства II Интернационала—защита от внешних и внутренних врагов, от опошления и профанации—все это спаяло нас особенно тесно. Я уже упоминала о том, насколько психологическая обстановка, царившая в самой Циммервальдской Комиссии, помогала нам справиться с трудной ответственной, подчас казавшейся непосильной, работой. Но помимо членов Комиссии и другие товарищи усердно помогали нам. Нашим советником и сотрудником неизменно являлся секретарь лево-социалистической

партии, Ф. Стрэм, один из наиболее цельных, чистых, самоотверженных и неутомимых революционеров и преданных товарищей, которых приходилось когда бы то ни было встречать. Большое обаяние, которым пользовалась маленькая, только-что отколовшаяся от старой соц.-дем. партии, левая партия об'ясняется, между прочим, громадной заслуженной популярностью Стрэма. Последний гармонически дополнял обладавшего недюжинными интеллектуальными и моральными качествами стяжавшего себе имя в европейском революционном движении Ц. Хöглунда, являвшегося и основателем и вдохновителем новой партии, и ее большой притягательной силой. Важным фактором громадного влияния этих двух товарищей является необыкновенная гармоничность между их мировоззрением, общественной деятельностью и личной жизнью в ее внешних проявлениях и внутренних побуждениях. А к этой-то цельности, гармоничности очень чутко относятся пролетарские массы, с ними, хотя и нехотя, считаются и враги освободительного движения. Такой же обаятельной личностью являлась и поседевшая в агитации, необыкновенно жизнерадостная, отдавшаяся всецело революционному движению Катя Дальстрэм, страстная сторонница и мужественная защитница Русской Революции.

В момент от'езда все связанные с моей работой в Стокгольме переживания воскресли в нашей памяти... Наше настроение сообщилось и другим шведским товарищам, с которыми меня не связывало ни столь тесное сотрудничество, ни такая личная привязанность и дружба. Редко когда звуки Интернационала производили на меня такое глубокое, я бы сказала потрясающее, впечатление, как когда они прозвучали вслед за увозившим меня в обетованный край земли пароходом. То не было торжество победы, а скорее воспоминание о прошлом, залог будущей борьбы...

---

Мы знали, что по пути к России нас ждут кое-какие осложнения,—на деле они оказались более вульгарными и более симптоматичными, чем я себе представляла. В Ревеле наш пароход должен был ждать целые сутки, пока немецкие власти соблаговолят подвергнуть нас осмотру. Эта задержка об'яснялась отчасти общим неприязненным к русским и революционерам отношением, отчасти,—как нам впоследствии об'яснили,—желанием высших и низших чинов местного ведомства спекульнуть насчет ехавших в голодающую, лишенную спиртных напитков, страну. И, действительно, к нашему пароходу то и дело под'езжали на лодках матросы, предлагавшие контрабанду—сахарин, водку и т. п. Зрелище было очень тяжелое—вместо пролетариев, желающих обменяться приветом, сведением с едующими в освобожденную Республику революционерами—стремящиеся к личной наживе, деморализованные, ничем не интересующиеся существа... Жутко и стыдно сделалось от зрелища, показавшегося мне символом распадения Германии, потери достоинства и традиций ее когда-то столь могучим рабочим движением... Я, конечно, отдавала себе отчет в том, что матросы эти были неподлинные, а тем менее революционно-дисциплинированные пролетарии, но тот факт, что они средь бела дня, нисколько не стесняясь, тут же на глазах у начальства, выкрикивали свой „товар“, было для меня ярким проявлением развала Германии...

Желая избавиться от унизительного зрелища, я начала было спускаться с палубы в каюту, когда мое внимание было привлечено весьма характерным и поучительным ответом одного из матросов. Когда ему кто-то из пассажиров заметил, что недопустимо так много запрашивать за сахарин, что нужно действовать „по-человечески“—юный матрос разразился громким, диким хохотом:

— По-человечески?! После этой войны по-человечески!.. Ха-ха-ха! По-человечески! Ха-ха-ха!

Как только я приехала в Москву, Владимир Ильич, находившийся там для лечения и отдыха,—это было две недели спустя после покушения,—передал мне через Я. М. Свердлова просьбу приехать к нему. Он, как и всегда, интересовался всеми деталями международного рабочего движения, и начал забрасывать меня вопросами еще до того, как я совладала с собой, подавила волнение, вызванное во мне видом его—раненого, но здорового, бодрого, поглощенного тысячью интересов. В течение проведеннаго в беспрерывной беседе с В. И. дня я обогатилась громадным, неисчерпаемым психологическим опытом. Характер предлагаемых вопросов, подход к конкретным проблемам крупного и мелкого калибра, подход к событиям, к людям, все это дало мне психологический ключ ко многому, дало мне возможность и в будущем лучше и тоньше разбираться во многом, что, пожалуй, осталось бы для меня непонятным и что помогло мне и ретроспективно и впоследствии ориентироваться во многих оттенках русского международного движения... Того дня, проведенного в русской деревне под Москвой, в сентябре 1918 года—с Владимиром Ильичем и Надеждой Константиновной—мне не забыть...

В. И. настоятельно советовал мне поскорее вернуться в Стокгольм. Через несколько дней я из Москвы направилась в Берлин.

---

## Трагикомическая высылка из Швейцарии.

После собеседования с спартаковцами и независимыми в Берлине, я направилась в Цюрих, где у меня было много товарищей и друзей среди итальянской рабочей эмиграции. Еще не доезжая немецко-швейцарской границы, я прочитала в какой-то провинциальной газете безграмотно сенсационную телеграмму о том, что я, отправляясь в Швейцарию, везу с собой 10 миллионов для „революционных выступлений". Это известие не вызвало во мне никакого раздражения. До того приходилось читать и слышать на свой счет действительные гнусности, в то время как эта утка сама по себе ничего, кроме юмора, не заключала. В сущности на этот раз не бросалось обвинения в том, что я на службе у империалистического правительства и под маской революционера и борьбы за мир работаю в его интересах,—на этот раз мне приписывалось служение своему, революционному правительству, т.-е. продолжение служения делу социальной революции, которой я всегда служила. Возмущаться было нечем.

Юмор же заключался в утверждении, что Советскому правительству, у которого в то время было несколько оффициальных дипломатических представительств, в частности и в Швейцарии, нужно было меня снабжать „десятью миллионами" для вызова мировой революции в назначенный день и час. Но на деле оказалось, что на швейцарского филистера, мелкого собственника и отелье как раз эта деталь подействовала всего больше. „Человек с десятью миллионами" сделалась предметом любопытства и ужаса для мелко-

буржуазного населения. Одни останавливали меня на улице, приглашая меня к обеду или прося сделать заем, другие предлагали мне приобрести недвижимое и движимое имущество, третьи представлялись под каким-нибудь другим предлогом, причем за неуклюжей, прозрачной маской нетрудно было узнать провокатора. Большинство же, начиная с прессы, выражало свое... презрение.

Неминуемо, каждый вечер, когда я с несколькими итальянскими товарищами совершала прогулку или заходила в кафе, появлялась группа не то пьяных, не то прямо нахальных суб'ектов, желавших непременно спровоцировать нас руганью по адресу большевиков, „хамской России“ и т. п. В прессе, в особенности во франкофильской, продолжались печататься те же самые инсинуации на мой счет. Все то, что когда бы то ни было писалось о моем подкупленном германофильстве, с одной стороны, о моей революционной деятельности, с другой, все это разогревалось и под новым соусом сервировалось читателям буржуазных газет. Из какого-то архива был по этому поводу выпущен и обновлен „документ“, из которого явствовало, что, будучи однажды арестована и выслана из Ваадского кантона, я заявила на допросе, что считаю свою социал-демократическую деятельность более революционной, чем анархическую.

Все это должно было служить доказательством того, какой угрозой является мой приезд в Швейцарию с десятью миллионами. К тому времени (концу октября—началу ноября 1918 г.) эта кампания начала приобретать все более определенный политический характер. По мере приближения поражения Германии, у нее и среди нейтральных государств становилось все меньше друзей, и Швейцария одной из первых перешла на сторону победительницы Франции. Пребывавшие и в немецкой Швейцарии раненые французские офицеры и их жены сделались хозяевами страны. Все, что

могло казаться германофильским или, вернее, все те, которые не распинались перед завоевательницей мира—Францией, являлись предметом презрения и преследований. Швейцария словно хотела искупить длинный период своего германофильства.

В последних числах октября, дней десять по прибытии в Швейцарию, я была вызвана из Цюриха в Берн членами нашей тамошней дипломатической миссии. Министерство иностранных дел келейным, подобающим правительству мелкобуржуазной страны, путем хотело добиться моего добровольного от'езда из Швейцарии, причем было поставлено на вид, что если я добровольно соглашусь покинуть страну, меня до границы будут провожать блюстители порядка и таким образом будет мне гарантирован проезд без осложнений. На вопрос члена нашей миссии о причине делаемого мне предложения член правительства ответил: „А вы не знаете, кто она такая: выдающаяся индивидуальность“, „пользуется громадным влиянием на массы“ и т. д. На возражение члена русской миссии, что наличность таких аттрибутов не является достаточным поводом для удаления из демократической республики, ему было отвечено тем же обывательски-конфиденциальным тоном: „Швейцария страна маленькая, мы зависим от больших держав. Ну, что вы скажете, если сообщу вам, что союзнические правительства, в частности Италия, уже требуют от нас удаления г-жи Б.“—На меня пересказ этого диалога произвел только впечатление юмористического рассказа. Согласиться на от'езд частным образом я не считала возможным из соображений и партийного и личного достоинства, но так как я вопрос этот считала не личным, а политическим, могущим быть использованным на пользу или во вред рабочему движению в Швейцарии и, косвенно, Италии, то я решила предоставить решение швейцарской партии, сразу отмежевав себя от русской миссии, дабы мои конфликты с вла-

стями ни в коем случае не могли отразиться на отношении швейцарского правительства к представительству РСФСР.

Вернувшись тут же в Цюрих, я просила секретаря швейцарской партии Платена созвать экстренное заседание Центрального Комитета партии. На этом заседании я изложила суть дела, остановилась на соображениях, делавших на мой взгляд совершенно неприемлемым предложение Швейцарского правительства и предоставляла швейцарской партии решение вопроса. Все члены Центрального Комитета то с одной, то с другой мотивировкой присоединились к моему мнению. Решено было в следующее же утро послать в Берн для переговоров с правительством тов. Платена, Розу Блох и Ланге. Большинство из членов Центрального Комитета и делегации было уверено, что им удастся уладить инцидент, у меня этой уверенности не было, и оптимизм товарищей, в особенности славной, мужественной, всегда оптимистически настроенной Розы Блох, которая уже мечтала, как она от имени швейцарских пролетариев заявит протест и добьется для меня возможности остаться, несколько смешил меня. Я понимала, что меня в Швейцарии не оставят и что вслед за моим отказом пойти на полюбовное соглашение последует другого рода приглашение, другое по существу и по форме.

К тому времени, в связи с событиями в Германии, на фронте и в тылу, к побежденной стране и ее „союзникам" начали относиться соответствующим образом. В виду этого и к представительству РСФСР отношение стало резко изменяться. Когда я приехала в Берн 7-го ноября на празднование годовщины нашей революции, в воздухе уже чувствовались всякого рода „осложнения". Уже начинали поговаривать о нежелательности пребывания в Швейцарии русской миссии. Первые страницы газет посвящались вариациям на тему о моей зловредности и о нежелательности присутствия

в стране сторонников „сепаратного мира“, „бошей“ вообще За мной велась бдительнейшая слежка.

В день моего от’езда из Цюриха, когда в воздухе уже чувствовалась всеобщая забастовка город был прямо-таки на осадном положении, в особенности тот пролетарский квартал, в котором, насупротив казармы, находились итальянские кооперативы, где я проводила большую часть времени. Туда с самого раннего утра начали приходить провокаторы разных национальностей и возрастов. Один просил денег на вооруженное выступление молодежи, другие просили указаний относительно плана действий в ближайшее время. Это „окружение“ сопровождало меня и в гостиницу и на вокзал.

В Берне мне товарищи советовали уже не выходить, так как были слухи о немедленном аресте: в Берне уже происходили заседания наиболее ответственных работников профессионального и политического движения: швейцарский рабочий класс угрожал всеобщей забастовкой, если не будут приняты ультимативные требования его, между прочим, и отказ правительства от нашей высылки. И действительно, всеобщая забастовка, включая и железнодорожников, началась. Каждый час появлявшиеся экстренные издания газет оповещали о сменявшихся планах правительства на наш счет: то об‘являлось, что я буду выслана, то, наоборот, что этого не будет, то обещалось населению избавить его от всех русских элементов, то уверяли, что дипломатическое представительство останется при своем иммунитете.

На второй день забастовки, в 6 часов утра, одному из членов русской миссии было дано знать, что в час пополудни все мы должны покинуть швейцарскую территорию и что к тому времени все члены и сотрудники миссии и я должны были быть в здании миссии. У всех явился вопрос о том, что с нами будут делать в виду отсутствия железнодорожного сообщения. К тому же времени были прерваны

все телефонные и телеграфные сообщения, и мы были отрезаны от всего мира, не имея возможности поставить в известность о происходящем стачечный комитет, заседавший в нескольких шагах от нас.

Ровно в час дня к зданию миссии под'ехали солдаты на ломовиках. Оказалось не за нами, а за „вещами“. Миссия была окружена довольно густой толпой злорадно-любопытствовавшей праздной публики, главным образом французов и их жен, приходивших полюбоваться и бесплатным зрелищем удаления „варваров“ из Швейцарии и в находившихся в непосредственной близости от миссии витринах франкофильской агентуры известиями о поражении варваров на фронте... Жалкое и смешное зрелище, на фоне которого выпукло выделялись несколько особенно типичных фигур. Женщины—жены французских героев или просто обывательницы, приходившие в особенный азарт при моем виде: „Вот она гнусная большевичка, революционный курьер с 10 миллионами“,—галдели они, указывая на меня пальцами, зонтами палками своим соседям—офицерам, и стоявшим тут же с широко раскрытым ртом случайным прохожим.

Это толпа все теснее окружала меня, по мере того, как мы приближались к вокзалу, площадь которого была запружены солдатами—пехотой и конницей, с пулеметами, ружьями, шашками. Меня совершенно оттеснили от шедших впереди 17—20 человек сотрудников миссии, среди которых были женщины и дети. Я почувствовала себя все более и более душимой пришедшей в панику толпой, услышала топот лошадей, почувствовала копыто на груди и на миг потеряла сознание. Когда я пришла в себя, я увидела перед собой обнаженные шашки, из руки струилась кровь, в поясе пальто торчали палки и зонты.

Меня повели на вокзал, где уже находились отдельные члены миссии. Среди них, кроме главы ее Берзина, сотруд-

ников его Шкловского, Любарского, Залкинда, были и тов. В. П. и М. В. Милютины, случайно находившиеся в Швейцарии, сделавшийся впоследствии комиссаром Венгерской Советской Республики тов. Самуэли, и несколько других русских и иностранных товарищей. Перед тем как усадить нас в приготовленные для нас автомобили, молодой фатоватый офицеришка, с неизменным моноклем, с высокомерно-брезгливой миной спросил, будет ли кто-нибудь в состоянии понять и перевести его „речь". „Речь" заключалась в том, что нам надлежит рассесться по автомобилям. В каждом из них сидел рядом с шоффером военный чин и каждый из наших автомобилей сопровождался броневиком.

„Если вы будете вести себя прилично,—с вами будут обращаться точно так же; если же вам вздумается ослушаться или сделать попытку бежать—мы пустим в ход огнестрельное оружие",—предупредил нас офицеришка, давая понять, что я буду подвергаться особенно тщательному надзору. Действительно, с меня все время „не сводили глаз", соответствующий конвой всюду и всегда сопровождал меня. В момент от'езда на меня уставились несколько фотографических аппаратов.

Вслед за этим началась бешеная гонка, кружение по всей стране. Никто из нас не должен был знать, куда мы едем, никто не должен был нас видеть, в особенности городское рабочее население. Деревенское население встретило нас с недружелюбным любопытством, старики и женщины даже иронически аплодировали. Для меня это зрелище было особенно тяжело. Мне не раз приходилось выступать в большинстве из этих местностей, и мысль о том, что те самые руки, которые теперь дико аплодируют высылке крамольников, когда-то аплодировали призыву к борьбе, к свободе, к равенству, угнетала меня.

После 36-ти часовой гонки нас, наконец, выгрузили в гостиннице, в местечке Крейцлингене, недалеко от германской

границы. Там мы должны были дождаться разрешения двинуться дальше, но куда и как, опять-таки никому не было известно. День мы проводили под соответствующим надзором в гостиннице, а ночью большинство из нас „помещалось“ на соломе, куда нас провожали, как арестантов. Нужно отдать справедливость населению этой пограничной местности: они использовали пребывание „варваров“ и для удовлетворения злорадного любопытства и для обделывания выгодных делишек. Каждый предлагал какой-нибудь товар ехавшим в холодную и голодную страну варварам. Рабочих в местечке не было; помню, один случайно встретившийся нам при в‘езде итальянец был тут же арестован за то, что поздоровался со мной. Большинство охранявших нас были уроженцы французской Швейцарии: на них можно было больше положиться и из-за сильно возбужденного событиями шовинизма и из-за общей отсталости тамошнего рабочего движения, нечего было бояться, что среди нижних чинов мог попасться организованный рабочий, который мог бы возмутиться травлей на революционеров или каким-нибудь образом воспротивиться ей.

После нескольких дней такой жизни нас опять нагрузили на автомобили и отправили, не говоря заранее куда, на немецкую границу в Баден. Трудно забыть тот озлобленный вид и тон, с которым пограничный начальник станции пожелал нам „околеть с голода“. На немецкой границе нас ожидало продолжение того-же фарса, который угрожал подчас принять характер трагедии. Когда мы находились еще в Швейцарии, провожавшие нас на ночлег блюстители порядка и, в частности, высшие чины, любили, обращаясь к матерям маленьких детей, заводить разговор на тему о том, что „неизвестно, мол, что вас ждет впереди“, „жалко женщин и детей“. И действительно, участь наша в значительной мере зависела от того, на какую мы попадем границу. Но это как раз с каким-то злорадным садизмом

скрывалось от нас, несмотря на неоднократный оффициальный запрос делегации миссии. Так мы до последней минуты и не знали этого. Большинство из нас с особой тревогой под'езжало к Германской Республике. Мысль о том, на какую землю мы вступаем, конечно, оттеснила все другие.

Обстановка на баденской границе была приблизительно такая же, в какой мы, русские эмигранты, очутились в 17 году при переезде финско-русской границы: несколько симптомов глубокого переворота, несколько одушевленных, обновленных пролетарских лиц на сером фоне безразличных, а отчасти даже озлобленных... Особенно неприятно поразила меня фигура одного чиновника, занимавшего какую-то должность при местном совете. Красный кусок материи, который красовался на рукаве в знак того, что он имеет какое-то отношение к Рабоче-Солдатскому Совету, являлся каким-то кричащим контрастом со всей его самодовольной, грубой, лишенной всякой духовности персоны. Казалось, что ему жалко было прежних времен и что он со скрежетом зубовным и презрением служил новым хлебодателям. Фигура этого суб'екта врезалась мне в память и потому, как он вел себя впоследствии во все время нашего невольного, нежеланного пребывания в Германии. Он проявил себя именно таким, каким я сочла его, как только пришлось обменяться с ним несколькими словами. Остальная публика, которая „приняла" нас на вокзале, оказалась тоже весьма серой—рабочие, солдаты, ремесленники, вошедшие в совет. Кое-кто проявлял внешние и внутренние типичные для немецкой социал-демократии черты, но то были исключения на сером мелкобуржуазном фоне. Все, не исключая и социал-демократов, были испуганы нашим приездом, не знали, как поступить, инструкций из центра они, очевидно, добиться не могли.

Помимо сопровождавшей нас вообще „славы", нашему приезду в Баден предшествовала и особенная агитация-

информация, которую на наш счет безустанно вели по пограничному телефону швейцарские озлобленные офицеришки. Они старались приготовить нам соответствующий прием. Принимавшие нас „власти“ не совсем уверены были, на основании зарубежной информации, имеют ли они дело только с опасными для существующего строя революционерами или с бандитами. Замешательство было большое, и большинство публики несомненно склонилось бы к тому, чтобы обращаться с нами, как с бандитами, если бы не боязнь „дипломатического промаха“. Миссия являлась дипломатическим представительством большой державы, и боязнь осложнений очень пугала представителей новой власти в провинциальном городе. Пробным камнем для обеих сторон явился вопрос об иммунитете багажа. Когда власти захотели осмотреть багаж, против этого очень энергично выступил один из членов миссии, Залкинд. Вопрос имел и принципиальный и практический характер, от решения его зависело и дальнейшее с нами обращение. Осмотр багажа означал бы непризнание иммунитета миссии и, тем самым, произвол в обращении с нами. Сами „власти“ были в нерешительности. Мы предложили им послать телеграммы депутатам и политическим деятелям их же страны, могущих „заверить“ наши личности и принадлежность к движению. Тут же были написаны телеграммы Гаазе, Оскару Кону, Либкнехту, Цеткиной (текст этих телеграмм и деньги были возвращены несколько дней спустя председателем местного совета, признавшимся, что телеграммы он отослать не решился, а советовал мне сделать это с русской (!!!) границы). Наконец, власти уступили, не без боязни нахлобучки из центра, нашим требованиям: вещи не были осмотрены. Нас отвели в имеющееся во всяком немецком местечке „христианское“ общежитие. Руководящую роль при нашем отводе туда играл тот неприятный суб'ект, о котором я уже упомянула. За несколько минут нашего

путешествия его „облик“ вполне ярко обрисовался мне—он ненавидел нас и как революционеров и как русских—„врагов“ его отечества. Горя желанием прочитать немецкие газеты, чтобы подробнее ознакомиться с событиями и настроением революционных дней, я набросилась на них при входе в общежитие. Суб‘ект дал мне понять, что немецкие газеты и немецкие события меня не касаются и тут же забрал все имевшиеся в читальне газеты. Он, очевидно, боялся злорадства врага или даже шпионства. Было от чего расхохотаться и внешне и внутренне: годами меня преследовали, смешивали с грязью, высылали за „германофильство“, а первое, что меня ждало в обетованной земле немецкой республики—было грубое, подозрительное обращение, в виду предполагавшейся солидарности с союзниками. По предложению того же гнусного суб‘екта, больше всех усердствовавшего в причинении нам неприятностей и козней—нас разделили на две группы, на два этажа—женщинам отводилось одно помещение, мужчинам другое. Поздно вечером тот же тип производил контроль с перекличкой, чтобы убедиться в том, действительно ли исполняются его законные предписания. Когда против этого запротестовали, он пригрозил призвать на помощь вооруженную силу. Эпилогом этих событий явилось весьма комичное вмешательство председателя Рабоче-Солдатского Совета. Старый социал-демократ, с гордостью вспоминавший о том, что Бебель был у него в гостях и что он лично знал Цеткину, был единственно симпатичным, несколько родным элементом во всей этой столь чуждой нам, столь неглубоко взрытой революцией обстановке. В нем, конечно, было много мелкобуржуазного—по профессии он был мелким торговцем,—но чувствовалось и благородство и попытка провести в жизнь миросозерцание и кое-какие традиции. Он старался смягчить обращение с нами и вел себя вполне корректно, если не по-товарищески, то по-отечески.

Этот оттенок начал проявляться более ярко и вообще во всем его обращении проявилось больше доверия к нам после следующего характерного эпизода. Однажды он подошел ко мне и несколько неуверенно спросил меня:

— Простите, это не вы произнесли речь на похоронах Бебеля. Кажется, я узнаю вас.

— Да,—ответила я.

— Значит, я не ошибся, — сказал он с просветлевшим лицом, словно у него отлегло от души...

— Не дадите ли вы мне свою визитную карточку на память,—спросил он.

— Нет, у меня их не имеется, я бы с удовольствием.

— Ну, в таком случае автограф, — сказал он и тут же вынул из кармана бумагу и карандаш... Он, наконец, убедился в том, что мы не авантюристы и не бандиты, а нечто вроде его единомышленников и, сообразно с этим, и вел себя. От него мы добились возможности выходить в город без надзора и переезда в „не-христианскую" гостиницу. На другое утро после упомянутой сцены он явился в особенно торжественном, казалось, настроении и просил меня перевести членам нашей делегации его слова. Мы все были уверены, что он, наконец, сообщит нам, когда и куда мы уедем или окончательно освободит нас от надзора. Торжественность его вида подавала надежды. Товарищи, сказал он,—не то извиняясь за инцидент с перекличкой, не то об'ясняя его,—мы все читали книгу Бебеля „Женщина и социализм". Мы все сторонники свободной любви, но у нас условия еще не созрели, мы еще не доросли".

До самого момента нашего от'езда нам не сообщали маршрута. Мы только знали, что останавливаться в Германии нам нельзя и что сопровождать до границы нас будут немецкие матросы и офицеры. Накануне от'езда я получила дошедшую

косвенным путем записку от группы итальянских товарищей. С самого момента моей высылки они искали меня, но наш маршрут так тщательно скрывался, что напасть на след не могли. Некоторые из них хотели во что бы то ни стало поехать со мной в Россию, другие хотели догнать, чтобы передать хоть часть вещей, так как мне не удалось взять с собой ничего, ни одной книги, ни одного предмета.

В записке товарищи-рабочие передавали привет, проклинали реакцию, клялись остаться верными великой идее. Они выражали надежду, что мы еще встретимся на поле битвы. Они очень скоро сдержали слово: будучи высланы из Швейцарии они, попав в Германию, при спартаковских боях сражались в первых рядах, чуть не были расстреляны и долго сидели в берлинских тюрьмах. В борьбе с фашизмом они остались верны своему прошлому. Кое с кем из них пришлось встретиться и возобновить и укрепить дружеские отношения, спаянные общностью взглядов, революционных традиций идентичностью стремлений и целей, общей верой в скорое всестороннее возрождение итальянских масс, вера которых в социализм еще углубилась под давлением дикой реакции.

До самого приезда в Россию продолжалась неопределенность положения. Находясь в поезде сегодня вечером, мы не знали, где очутимся завтра и будем ли мы вообще живы, так как приходилось проезжать по не совсем нейтральным местам.

Сопровождавшие нас германские офицеры и матросы сохраняли глубочайшее молчание насчет нашего ближайшего будущего. Газет нам читать почти не удавалось. После почти двухнедельных мытарств нам однажды утром сообщили, что поезд, в котором везли нас, будет отцеплен и прицеплен к поезду, в котором ехал представитель РСФСР в Германии А. А. Иоффе. Он и восстанавливающаяся им дипломатическая миссия были высланы из Берлина по аналогичному поводу, аналогичным способом. В одном случае

призрак десяти миллионов, в другом случае якобы случайно разлетевшийся ящик из Москвы, содержавший революционные воззвания...

---

После моего прибытия в Москву, я старалась поддерживать установившуюся между Циммервальдскими партиями политическую и духовную связь. Блокада, которой тогда подвергалась РСФСР, полнейшее отсутствие почтовых сношений, крайне осложняло эту задачу. В то время и курьерского сообщения с РСФСР не было; в начале 1919 г. и шведская миссия, возглавляемая В. В. Воровским, была выслана. „Ходоки" попадали в Россию крайне редко, с большими затруднениями и еще большим риском. Иностранный элемент в РСФСР набирался, главным образом, из военнопленных, давно отсутствовавших из родной страны и не могших служить живым звеном между революционным движением Западной Европы и Циммервальдской Комиссией.

В начале января 1919 года—на другой день после убийства Р. Люксембург и К. Либкнехта, после митинга в здании Московского Совета, на котором говорил В. И. Ленин, Л. Б. Каменев и я, ко мне подошел только что назначенный Председателем Совета Народных Коммисаров УССР и Комиссаром Иностранных дел Х. Г. Раковский, предлагая мне поехать работать с ним в Комиссариате Иностранных Дел в Харькове, причем поставил мне на вид, что с юга мне легче будет сноситься с западно-европейскими и балканскими странами для Циммервальдской работы. Я с удовольствием согласилась и в середине февраля отправилась в Харьков. Не успела я начать там работать, как нас с Х. Г. Раковским вызвали обратно в Москву по случаю с'ехавшихся туда на совещание-конференцию представителей насколькких революцион-

ных партий и меньшинств партий, стоявших на платформе Циммервальда и убежденной в необходимости об'единить авангард международного рабочего движения революционной программой и революционной тактикой.

Приглашение на такого рода совещание было разослано по радио Чичериным, но надежды на то, что оно даст какие-нибудь конкретные результаты было, в виду тогдашних цензурных условий и в виду оторванности РСФСР от всего мира—немного. Однако, первого марта совещание было открыто в присутствии представителей нескольких экс-воюющих и нейтральных стран—нескольких с трудом пробравшихся в Россию западно-европейцев или оставшихся в ней бывших пленных. Когда мы с Х. Г. приехали в Москву, 2-го марта, на заседании в Кремле дебатировался вопрос о том, считать ли совещательной конференцией или конгрессом состоявшийся с'езд. Вернувшийся из Австрии, уже раньше живший в России австрийский социалист, отчетом о виденном им заграницей и голосованием дал перевес голосовавшим за то, чтобы считать с'ездом, а не конференцией состоявшееся совещание. Участвуя на с'езде в качестве секретаря Циммервальдской коммисии, я заявила, что хотя невозможность быть в непосредственном контакте с Циммервальдскими организациями всех западно-европейских стран и лишает меня права говорить и решать от их имени, я тем не менее уверена, что большинство циммервальдцев были бы, без сомнения, за присоединение к особой интернациональной организации, целью которой являлось расширение осуществления Циммервальдских лозунгов. Циммервальд возник для социалистической борьбы против войны, ему на смену должно было прийти об'единение революционных партий для борьбы за социализм вообще.

III Интернационал был основан. Когда я в последний день работ с'езда собиралась вернуться в Украину, Л. Д. Троцкий удивился моему решению.

— Кто же, если не вы, будете секретарем Интернационала?" — сказал он мне и повел меня к В. И. Ленину, который на мое возражение о том, что для принимавшей более легальный, широкий характер работы секретаря нового Интернационала можно было бы подыскать кого-нибудь другого, ответил ссылкой на партийную дисциплину и просил меня подчиниться решению Ц. К. Едва успела я вернуться из Кремля, к себе, в Первый Дом Советов, как из Ц. К. мне сообщили по телефону, что я назначена секретарем III Коммунистического Интернационала...

---

# ОГЛАВЛЕНИЕ.

**Цена 1 руб.**






ИЗДАТЕЛЬСТВО „КНИГА“
ЛЕНИНГРАД — 1925 — МОСКВА

